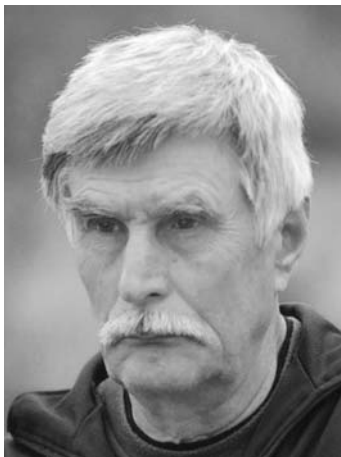


ВИКТОР МАНУЙЛОВ



В НЕБЕ СЛЕДОВ НЕ ОСТАЁТСЯ

ПОВЕСТЬ

1

Авиаполк истребителей полковника Андрея Степановича Кукушкина располагался примерно в десяти километрах от Львова и в шестидесяти от границы с Польшей, где скоро уже два года как хозяйничали немцы. Это был не тот полк, которым Кукушкин командовал до ареста в тридцать восьмом году сразу же после возвращения из Испании и в который желал бы возвратиться после снятия обвинений во вредительстве и шпионаже в пользу Германии, возвратиться, чтобы посмотреть в глаза тем, кто дал лживые показания против него и его товарищей. Однако начальство рассудило иначе и отправило Кукушкина в другой полк, и даже в другую дивизию, раскидав по другим полкам и его товарищей по несчастью. Успокоившись и рассудив здраво, полковник Кукушкин вынужден был признать, что начальство в данном случае поступило разумно, потому что не дело и не время сводить счеты с теми, кто оказался виноват перед тобой. В конце концов, они и так наказали себя своей подлостью, и это клеймо им не смыть с себя до конца своих дней; даже если люди про эту их подлость забудут, сами они не забудут ее никогда.

Рассудив таким образом, Кукушкин успокоился и целиком погрузился в работу. Да если бы и не успокоился, от работы все равно никуда не денешься, а работа лечит всё. Даже жестокие обиды.

Кукушкин принял полк в стадии формирования и поступления новой материальной части. Еще в марте сорок первого в полку было только две эс-

МАНУЙЛОВ Виктор Васильевич родился в 1935 году в Ленинграде. Закончил редакционно-издательский факультет Московского полиграфического института. Печатался в журналах "Молодая гвардия", "Воин России", "Юность", "Подъём" и др. Живёт в Москве.

кадрильи истребителей И-15 и И-16. Точно на таких же сам Кукушкин дрался в небе Испании с немецкими Ме-109В, у которых скорость была повыше, чем у “ишачков”, всего на пять-восемь километров в час, зато “ишачки” были маневреннее и за счет этого воздушные бои, как правило, выигрывали. Но потом у немцев появился Ме-109Е, на вид ничем от своего предшественника неотличимый, однако с более мощным двигателем, и потому в скорости превосходил “ишачков” более чем на сто километров, да к тому же имел на вооружении, помимо пулеметов, пушку калибра 20 миллиметров. И “ишачки” посыпались с неба огненными факелами. Не избежал этой участи и сам Кукушкин.

В конце марта сорок первого на вооружение полка поступили первые Як-1, а вместе с ними и пополнение, в основном из молодых летчиков, только что закончивших училища и на новых истребителях еще не летавших. Впрочем, были среди пополнения и опытные пилоты, и такие, кто дрался с японцами в небе Халхин-Гола и не то с немцами, не то с финнами над Карельским перешейком. Но и они “Яки” видели впервые. Стало быть, надо полк еще научить летать на новых машинах. И самому научиться тоже. Поэтому что летчики — это те же древние витязи, впереди которых выступает сам князь. Под знаменем и в золоченых доспехах. И первые стрелы и копья — ему. Самолет Кукушкина от других ничем не отличался, разве что номером, но доведись ему вести в бой свой полк, он летел бы первым — это и привилегия, и обязанность, и ответственность.

Два летчика-инструктора, прибывшие в полк с новыми машинами, “вывозили” новичков на освоение техники, по десять-двенадцать часов не вылезая из кабин самолетов, и уже через пару недель обе эскадрильи самостоятельно поднимались в небо, а лучшие пилоты начали патрулирование воздушного пространства вдоль государственной границы. Конечно, две недели — слишком маленький срок для того, чтобы летчик слился с самолетом, почувствовал его всем своим телом. Но время еще есть, и месяцев за пять-шесть большинство из летчиков новую технику освоют.

В последнее время немцы настолько обнаглели, что залетали на нашу сторону на добрую сотню километров, легко уходя от преследовавших их “ишачков”. К тому же в инструкции, спущенной сверху, было сказано, что советские летчики во время патрулирования на провокации поддаваться не имеют права, нарушителей воздушного пространства СССР по возможности должны сажать на наши аэродромы, и только в случае неповиновения открывать сперва предупредительный огонь, затем огонь на поражение, но — избави бог! — не в сторону границы. Другими словами, нарушителя надо было отсечь от границы, самому повернуться к ней задом или хотя бы боком и только тогда уж сажать или стрелять.

Где-то в конце мая летчики, летающие на патрулирование, стали доносить о том, что на той стороне границы творится что-то весьма странное и непонятное: роются окопы, устанавливаются орудия, по дорогам движутся колонны машин и танков, и все это в открытую, не таясь, а затем колонны рассыпаются по окрестным лесам.

Правда, и с нашей стороны отмечается некое встречное движение, но оно слишком слабое и робкое по сравнению с немецким и заканчивается, как правило, с рассветом.

— Сегодня собственными глазами видел колонну примерно в пятьдесят танков, которая двигалась со стороны Ярославля, — докладывал старший лейтенант Дмитриев, низкорослый, квадратный, с круглой головой на короткой шее и носом картошкой, тыча пальцем в карту, висящую на стене кабинета командира полка. — А позиции артиллерии, которые возводились два дня назад, испарились. Глазам своим не поверил, товарищ полковник. Спустился малость, смотрю — есть, но так замаскировали, сволочи, что от кустарника не отличишь. Ведь на прямую наводку поставлены! — возмущался Дмитриев. — Неспроста все это, товарищ полковник, жареным пахнет. Чего наверху-то думают?

— Что надо, то и думают, — отрезал Кукушкин. — Ваше дело, товарищ старший лейтенант, доложить обстановку, а решать, что делать, и обсуждать вас никто не уполномочивал. Понятно?

— Так точно, товарищ полковник! — вытянулся Дмитриев. — Есть не решать, не обсуждать, мозгами не шевелить! Разрешите идти?

— Идите, — махнул Кукушкин рукой. — И напишите рапорт о том, что видели... Да, и еще: попросите ко мне капитана Михайлова.

— Есть написать рапорт и попросить Михайлова, — лихо козырнул Дмитриев и вышел из кабинета.

Во рту у него сама собой скопилась слюна, ему хотелось плюнуть со злости, но не на пол же и не в кабинете, и только сбегав по ступенькам крыльца, он таки плюнул, и опять же — не на посыпанную песком дорожку, а в траву, и, разумеется, злости этим осторожным плевком несколько не утолил.

Завернув за угол штабного здания, Дмитриев нос к носу столкнулся с капитаном Михайловым, командиром третьей эскадрильи, своим непосредственным начальником. Михайлов — полная противоположность Дмитриеву: сухощав, строен, лицо открытое, но холодное, и во всей его подтянутой фигуре разлита спокойная уверенность и рассудительность.

Дмитриев с Михайловым друзья. Вместе кончали Качинское летное училище, служили в одном полку, летали бок о бок в небе Халхин-Гола, затем прикрывали наши бомбардировщики в небе Финляндии. Редчайший в армейской практике случай, чтобы в течение пяти с лишком лет куда один, туда и другой. Дмитриеву давно положено командовать эскадрилей, но он слишком вспыльчив, несдержан, поэтому ходит у Михайлова в замах. И не тужит: командовать он не любит и не умеет.

— Доложился? — спросил Михайлов, останавливаясь и с подозрением поглядывая на своего зама.

— Как из пулемета, — беспечно отмахнулся Дмитриев. — Велено телегу писать. Тебя, кстати, Батя вызывает.

— Знаю. Вот что, пулемет, тебе придется сегодня еще разок слетать на патрулирование...

— А Горюнов?

— Горюнов приболел. Температура. Ничего, слетай, тебе же на пользу. Только без фокусов, — предупредил Михайлов.

— Да я ничего, слетаю — дело большое... Какие там фокусы? — проворчал Дмитриев и пошел на стоянку, к своему "Яшке", как все называли новый самолет.

Механик, старший сержант Рыкунов, степенный уралец, вынырнул из-под крыла, доложил:

— Машина к полету подготовлена, командир. Все проверено, все тик-так. Тут вам обед принесли: комэска распорядился, так я завернул, чтоб не простыл. Будете?

Дмитриев хлебал наваристый борщ и думал, что раньше перед сечей не ели, разве что квас... Говорят, мухоморы жевали для озверения. В пехоте, говорят, и нынче тоже не едят...

Рассуждения были досужими, ни к чему не ведущими, а, наоборот, уводящими. В Монголии делали по пять-шесть вылетов за день, не поешь — не полетишь. А тут в день летаешь по разу. Но сегодня второй раз лететь не хотелось: все то же самое, то же самое. А если иметь в виду, что сегодня суббота, что Дмитриев рассчитывал провести воскресенье во Львове, то лишний вылет был ему совершенно ни к чему.

Как и перед каждой поездкой во Львов, Дмитриев мечтал и очень надеялся на особый случай, который позволил бы ему познакомиться с какой-нибудь девицей. То есть не с какой-нибудь, а с красивой и образованной. Лучше всего с учительницей или медичкой. Он представлял себе всякие невероятные положения, в которые ненароком попадает эта девица: нападение хулиганов, например, или падение с моста в реку. И тут появляется он, разгоняет хулиганов или бросается в воду и спасает. Или еще как-то проявляет себя с наилучшей стороны. Затем между ними возникнет настоящая дружба и любовь. Тогда можно и жениться. А то война начнется, он, разумеется, погибнет, а после него ничего не останется. Разве что пепел.

Женский вопрос занимал Дмитриева давно и безуспешно, как, впрочем, и многих других молодых летчиков. И хотя летчики у слабого пола были в

моде, особенно после полета Чкалова в Америку, и даже песенку придумали на этот счет: “Мама, я летчика люблю, мама, за летчика пойду: летчик высоко летает, много денег получает, мама, за летчика пойду”, — однако расчелливой любви никому не хотелось, а хотелось такой, как в книжках: чтобы бескорыстно и навек.

Покончив с борщом и гуляшом с гречневой кашей, выпив компот, Дмитриев прилег в тени крыла в ожидании приказа на взлет, грыз шоколад. Приказ поступит не раньше чем через час: только что на патрулирование ушла очередная группа “Яков” — пока слетает, пока вернется...

Чуть в стороне от аэродрома, чтобы на виду у начальства, вертелись в воздухе, гоняясь друг за другом, два звена “ишачков”, изображая воздушный бой, — это Батя гонял молодых пилотов, повышал их квалификацию. Невдалеке от стоянки третьей эскадрильи инженер полка проводил инструктаж с механиками и техниками по вопросам профилактики и ремонта новых машин. По рулёмке тащился бензовоз. На опушке рощи красноармейцы из роты охраны не спеша рыли щели — на всякий пожарный случай. Обычные звуки, обычное движение...

2

Дмитриев задремал. Проснулся от крика своего механика:

— Командир, к вылету!

— Чего орешь как резаный? По-человечески не можешь?

— Так ракета же, — оправдывался Рыкунов.

Взлетали вдвоем. Справа тянул вверх лейтенант Конягин. Под крылом поплыли леса, поля, деревеньки, хутора; промелькнули выгоревшие на солнце до белизны, выстроившиеся как на параде палатки летних военных лагерей, даже не прикрытые ветками танки и артиллерия; дымят походные кухни, пылит по проселку в сторону стрельбища пехота. Кое-где на полях косят еще зеленоватый овес, на выгонах пасутся стада коров и овец, над речушкой маленькие домики пионерского лагеря, разноцветные флажки, на лужайке пацаны гоняют мяч. По тонкой ниточке железной дороги ползет змея из красных вагонов, дымит паровоз. Мир, спокойствие и благодать — если смотреть сверху и не вдаваться в детали.

Поднялись на две тысячи метров. Справа остались рассыпанные среди садов дома Брюховичей, слева — Яворова, еще несколько минут — справа показался Немиров, слева Краковец. Краковец — совсем уж на границе.

Не стовариваясь, помахали друг другу рукой и разошлись в разные стороны.

Хотя на небе лишь редкие полупрозрачные облака и голубизна разлита от края и до края, однако кажется, что запад подернут темной дымкой, что там собираются тучи и будто сквозь рокот мотора слышен далекий гром надвигающейся грозы. Дмитриев знает, что это всего лишь его фантазии, но ничего поделаться с собой не может: кажется — и все тут. Раньше, например, не казалось.

А по ту сторону границы подозрительно тихо. Дороги пустынные, разве что одиночная машина пропылит или фура с битюгами в упряжке мелькнет в солнечной ряби просеки. Ни дымков походных кухонь, ни костров. Даже не верится, что всего несколько часов назад он собственными глазами видел колонну танков,двигающуюся к границе. Не к добру это, не к добру. Может, сделали все, что надо сделать, изготовились, а теперь только ждут приказа?

Дмитриев скрипнул зубами, дал полный газ и потянул штурвал на себя. Тело вжалось в сидение, пропеллер с воем отбрасывал воздух; лес, речка, редкие домики бросило вверх, солнце и облака — вниз, и все это закружило в хороводе мертвых петель и бочек.

Нет, каждый день видеть немецкую возню сверху, даже не залетая на сопредельную сторону, докладывать об увиденном и не замечать, чтобы кто-то палец о палец ударил для подготовки ответных мер, — поневоле записишься. А чем снять этот психоз? Вот и вертись в небе на глазах и у своих, и у чужих: смотрите, мол, черти полосатые, спуску не дадим.

Но после такой встряски ничего, кроме усталости и опустошенности.

И вдруг — немец! Ю-88 — “юнкерс”. Идет чуть наискось к границе с нашей стороны. Метров на пятьсот выше Дмитриева. Видно, что бомболоки открыты, наверняка фотографирует, еще немного — и он уже на той стороне. И то ли немец не видит советского истребителя, то ли уверен, что проскочит: скоростинка-то у него приличная, на “ишачке” не догонишь, но на “Яке” — раз плюнуть, а только летит спокойно, как у себя дома.

Дмитриев, еще не отдышавшись после двух петель и серии бочек, почувствовал азарт охотника, кинул машину вверх навстречу немцу и выпустил короткую предупредительную трассу перед его носом. Дымные полосы от двух пулеметов и пушки растаяли в вышине, и немец, не дожидаясь огня на поражение, покачал крыльями, будто на что-то соглашаясь, и тут же отвернул и бросил машину вниз: опытный, сволочь. И словно назубок знает все наши приказы, все наши инструкции, и вертится перед тобой, как вошь на гребешке, пытаясь прорваться к границе...

Дмитриев сделал горку и уже начал пристраиваться к хвосту немца, как вдруг заметил, как запульсировало пламя из пулемета стрелка! Чтобы на чужой территории немец стал отстреливаться — такого еще не бывало. Ну, наглец! Ну, сволочь! Резануть? Но немец, повторив тот же маневр, уже вышел из зоны обстрела, то есть оказался между границей и советским истребителем — и стрелять нельзя. Да и дежурный по полетам строго-настрого велел в драку не ввязываться и на провокацию не отвечать.

— Ах, гады! Ах, сволочи! — выругался Дмитриев, имея в виду и немца, и дежурного, и еще кого-то, кто не дает этих немцев сбивать.

Сталину написать, что ли, обо всех этих безобразиях? А то проспим войну, видит бог, проспим!

3

Комэска-три капитан Михайлов был сердит. Более того — зол. Он только что получил нагоняй от полковника Кукушкина за то, что в той части казармы для механиков и мотористов срочной службы, которую занимает третья эскадрилья, творится форменный бардак: койки заправлены плохо, в тумбочках много посторонних предметов, а у некоторых под матрасами обнаружена гражданская одежда, что свидетельствует о том, что механики и мотористы ходят в самоволку, а это равнозначно — по нынешним-то временам — дезертирству.

Михайлов, со своей стороны, поставил по стойке смирно старшину эскадрильи Бубурина, пообещав ему самые страшные последствия, если он не наведет среди личного состава срочной службы подобающего порядка. Затем то же самое, но в менее категоричной форме, он высказал адъютанту эскадрильи старшему лейтенанту Хомяченко и теперь шел по стоянку, придиричиво оглядывая самолеты и людей, копошащихся около них, подмечая то мелкие непорядки, то вопиющие факты разгильдяйства. Он и раньше все это замечал, но не придавал особого значения, полагая, что авиация — это тебе не пехота, и здесь должна быть несколько иная атмосфера — атмосфера доверия и братства, а не солдафонства и буквоедства. Тем более что люди работают на матчасти хорошо, с душой, можно сказать, работают, так какого еще рожна ему нужно?

Под “ним” капитан имел в виду полковника Кукушкина, человека скрипучего и формалиста.

Два “Яка” шли на посадку крыло к крылу. Шли с форсом, нарушая инструкции. Это были машины его эскадрильи. И одну из них вел старлей Дмитриев, его, капитана Михайлова, правая рука.

“Ну, сукин сын! — закипел капитан Михайлов. — Вот я тебе покажу, как выпендриваться! Ты у меня почешешься!”

Самолеты рулили на стоянку, и тут Михайлов увидел, что машина Дмитриева в нескольких местах продырявлена, лохмотья перкали треплет воздушный поток.

Дмитриев зарулил на свое место, выбрался из кабины, спрыгнул на зем-

лю и, отстегнув парашют, ходил вдоль самолета, покачивая круглой своей головой. Следом топал механик Рыкунов и тоже качал головой.

Михайлов, забыв о выкрутасах Дмитриева при посадке, подошел и тоже стал рассматривать израненный самолет.

— Вот, — сказал Дмитриев, трогая пальцами лохмотья перкали. — Дожились: на нашей же территории нас и сбивают.

— Не сбили же, — проворчал озадаченный Михайлов и вдруг, вспомнив нотацию Бати, проскрипел почти его же голосом: — Старший лейтенант Дмитриев! Извольте доложить по форме о результатах патрулирования!

Дмитриев изумленно воззрился на своего друга.

— Ты чего, Лёха? Меня ж чуть не сбили... “Юнкерс”! Восемьдесят восьмой! Я бы его, суку, завалил, но не дали же... Не дали! — вскрикнул он и осекся под тяжелым и требовательным взглядом командира. Вытянулся, шелкнул каблучками, руки по швам. — Есть доложить по форме, товарищ капитан! Так что был обстрелян “юнкерсом” при попытке воспрепятствовать уходу за границу.

— А почему сядил не по инструкции?

— Так вышли к аэродрому вместе и решили отработать совместную посадку. Мало ли что может случиться в боевой обстановке... А только я скажу тебе, Лёха, хоть ты и командир мне, а сил моих нету терпеть такое б...во! Им, значит, можно, а нам, на своей земле, нельзя? Как хочешь, пойду под трибунал, а в следующий раз вгони в землю как миленького. Так и знай.

Михайлов взял Дмитриева под руку, отвел в сторонку, чтобы никто не слышал.

— Я все понимаю, Вася, — заговорил он сочувственно, — но приказ есть приказ. И инструкции есть инструкции. Это армия, а не гражданка. Так что... Впрочем, вот тебе мой совет: возьми и напейся. Даю тебе увольнение до завтрашнего вечера. Нет, даже до понедельника. Поезжай во Львов, запишись в гостинице, чтобы никто не видел, и напейся. Вот все, что я могу для тебя сделать.

И старший лейтенант Дмитриев решил последовать этому мудрому совету.

Вообще-то он пил редко и помалу. Не тянуло. Да и не до этого было. Дело свое любил, а оно не оставляло времени ни на что другое. Был счастлив, что выбрал профессию военного летчика, и уже не помнил о том, что в школе собирался стать агрономом. А еще Дмитриев считал себя везучим человеком. В одном ему не повезло — не попал в Испанию. Хотя очень туда с Михайловым стремился. Впрочем, туда все стремились, да не все попали. Зато с японками и финнами схлестнуться довелось. И получилось весьма неплохо. Получил “Знамя” и “Звездочку” — не хухры-мухры. Опять же, приобрел опыт, уверенность в себе. А это кое-что значит, если учесть грядущую войну с фашистами. Так что на судьбу жаловаться ему не пристало. Вот только с женщинами не везло. И не урод вроде бы, хотя и не красавец... Так разве во внешности дело? Душа — вот главное. А душа у Дмитриева азартная и певучая. Только женщины почему-то этого не видят и не слышат. Настоящие женщины, разумеется.

4

До Львова старший лейтенант Дмитриев добрался на полковой полуторке, ехавшей в город за продуктами. Сидел в тесной кабине рядом с буфетчицей Клавочкой, чувствуя жар ее молодого тела, невпопад отвечал на глупенькие Клавочкины вопросы, не замечая масляных глаз и припухлых губ, раскачивающихся в опасной близости от его лица. Он настолько еще был переполнен недавним полетом, своими промахами, что все остальное казалось мелким, не имеющим к нему, Дмитриеву, никакого отношения.

“Приеду и напьюсь, — твердил он себе словно заклинание. — И пошло оно все к черту!”

Нервы у него, действительно, были на пределе, и сегодня он чуть не сорвался.

“У-у, гады! У-у, сволочи!” — ругался Дмитриев про себя, уже никого не имея в виду, а больше по привычке.

Он ругался, а Клавочка о чем-то болтала, о чем-то веселом, беззаботном, и Дмитриеву странными казались и ее неуместная веселость, и почти преступная беззаботность. Он жалел, что сел в кабину, а не в кузов: там не так жарко, там он был бы избавлен от этой глупой болтовни.

Мимо бежали поля, перелески, хутора. Промелькнули среди деревьев палатки артиллерийской части. Машина обгоняла то крестьянскую подводу, то воинскую фуру. Лошади перебирали копытами, взбивая мелкую пыль, мотали головами, возницы дымили самосадом. Все было мирно, тихо, действовало на Дмитриева убаюкивающе, и сам он уже не верил тому, что видел сверху миновавшим утром, встреча с “Юнкерсом” казалась сном...

— А вы что сегодня вечером будете делать? — прозвучало у Дмитриева над ухом — и он встрепенулся, почувствовал тепло и запах распаренного в тесноте кабины Клавочкиного тела.

Действительно, что он сегодня собирался делать? Напиться? Да, напиться. А Клавочка?

Дмитриев глянул на женщину: не такая уж и молодая, то есть уже под тридцать, лицо невыразительное, глаза маленькие — мышинные, верхняя губа чуть вздернута, белеют мелкие зубы, подбородок тяжеловат, большие груди вызывающе трясутся вместе с крепдешиновым платьем, в ложбинке мокро... Может, и правда, пригласить в номер, выпить вместе... или совсем не пить... Вот тебе и временное разрешение женского вопроса. Правда, о Клавочке в полку поговаривают, что ее только помани, пойдет за кем угодно, как лошадь на запах овса, но ведь другой-то нету...

— Что делать буду? — переспросил Дмитриев. И вдруг, неожиданно для себя самого: — Тебя буду ждать вечером в гостинице. Придешь? — И сам испугался и своей непозволительной наглости, и возможного отказа.

— Приду, — сказала Клавочка просто. — Вот только получу допшаек, и приду. Но мне рано в полк надо... Совсем рано — к пяти часам.

— А у меня весь завтрашний день свободен, — с сожалением произнес Дмитриев.

Они договаривались, а шофер-солдатик смотрел прямо перед собой и крутил баранку, точно был один в кабине и ничего не слышал. Ни Клавочка, ни Дмитриев солдатика не замечали.

В гостинице Дмитриев принял душ, в одних трусах сел к столу, налил полный стакан водки, выпил залпом, словно воду, съел банку бычков в томатном соусе и огромный малиновый помидор. Хотел налить второй стакан, но передумал: Клавочка придет, а он в стельку. Тогда Дмитриев лег на кровать поверх одеяла и стал ждать. Не заметил, как уснул. Разбудила Клавочка. Открыл глаза, а она — вот она, сидит рядом и улыбается.

— Уморился, роденький? — и маленькими ладошками с короткими пальцами гладит его по голой груди и смотрит выжидательно, еще не зная, что можно, а что нельзя.

Дмитриев схватил ее в охапку, ткнулся носом во влажную ложбинку, замер с закрытыми глазами, вдыхая кисловатый запах распаренного на жаре тела. Потом стал торопливо стягивать с Клавочки платье. Она хихикала, помогала ему, покусывала за ухо.

Дальше все произошло уж очень быстро и бестолково, как показалось Дмитриеву. Но Клавочка не обиделась, она гладила его по голове, шептала что-то глупенькое, но утешительное, как маленькому обиженному ребенку.

Закатное солнце плавило розовую портьеру на единственном окне, движение воздуха колыхало ее, и солнце колыхалось вместе с портьерой. В комнату врывались гудки паровозов с недалекой станции, тархтение телег по булыжной мостовой, голоса людей. Клавочка стонала и втягивала своим маленьким ртом нижнюю губу Дмитриева, иногда кусалась, но не больно, а возбуждающе щекотно. Все это длилось долго, до тех пор, пока оба не устали и уже не испытывали ничего, кроме желания, чтобы это наконец кончилось.

Дмитриев сдался первым. Клавочка победно засмеялась и уселась на него верхом. Грудь ее, похожие на две большие груши, свисали до самого живота.

— Я победила, — произнесла она.

— Победила, — согласился Дмитриев.

- Давай поедим?
- Давай. Только сперва помоемся.
- А как же.

Мылись вместе.

После душа Клавочка, не одеваясь, разложила на столе принесенную с собой снедь, поставила бутылку водки. Они выпивали маленькими порциями, заедали помидорами, огурцами, колбасой, сыром, крутыми яйцами. Потом все началось сначала. Так же жадно, до изнеможения.

Потом Дмитриев уснул. Но не сразу. Сперва тело сделалось воздушным, невесомым, словно он вошел в штопор, а голова, наоборот, отяжелела, тянула вниз. “Ну, вот и все, — сказал он себе. — И все вопросы решены. И женский вопрос, и военный, и всякий другой. До безобразия просто. И пошли они все к такой матери!”

А через минуту ему уже казалось, что он сидит в своем “Яке” и ловит в перекрестье прицела контур немецкого “юнкерса”. Еще немного — и он догонит его, и можно будет нажать гашетку. С каким наслаждением он всадит в него очередь из всех своих пулеметов и пушки. Главное — успеть настичь немца до того, как тот повернет к границе.

Нет, действительно, написать Сталину — уж он им...

5

Полковник Кукушкин поздним субботним вечером получил из штаба дивизии странную телефонограмму: никого в увольнение из части не отпускать, ожидать дальнейших распоряжений.

Чертыхнулся: несколько человек из летчиков и техников он уже отпустил. Это из тех, кто давно не был в увольнении, в основном — семейных. И по просьбе капитана Михайлова старшего лейтенанта Дмитриева — чтобы снял нервное напряжение после стычки с немецким нарушителем воздушного пространства СССР. В душе Кукушкин сочувствовал Дмитриеву. И у него самого было такое ощущение, точно его оскорбили принародно, а он не смог на это оскорбление ответить. Хотя надо было дать в морду. Отвратительное ощущение, надо сказать.

Кукушкин вызвал дежурного по полку, приказал отправить посыльных по оставленным уволенными адресам.

— Не на чем, товарищ полковник: все машины в разгоне, — стал отбояриваться майор Никишкин, командир первой эскадрильи, и не только потому, что действительно было не на чем, а более всего потому, что на одной из полковых полуторок он отправил во Львов адъютанта своей эскадрильи и двух механиков, чтобы они помогли перебраться его семье на новую квартиру. Он сделал это с ведома заместителя командира полка, уверенный, что Кукушкин, с первых же дней прослывший в полку сухарем и службистом, машину, скорее всего, не даст и людей не отпустит. Теперь получалось, что надо всех возвращать, а жене и детям перебираться на новую квартиру с помощью случайных помощников.

— Пешком пусть идут! — вспылил полковник Кукушкин, но тут же устыдился своей вспыльчивости и уже спокойно: — Есть велосипеды, есть лошади, в конце концов. Распорядитесь, майор. В крайнем случае — пошлите мою машину.

Майор Никишкин козырнул и вышел.

“Обиженный, — подумал о нем Кукушкин, но не сердито, а с пониманием: Никишкин рассчитывал командовать эскадрильей “Яков”, а его оставили на “ишачках”, на “Яки” же пошли новички. — Ничего, на сердитых воду возят, — продолжал рассуждать Кукушкин. — Кому-то и на “ишачках” надо. Зато на них никто лучше Никишкина и его пилотов не летает...”

Лишь за полночь, выпив на сон грядущий кружку крепко заваренного горячего чая, Андрей Степанович прилег на кушетку в своем кабинете, распечатал и прочитал короткое письмо от дочери.

Цветана писала, что едет с внучкой в деревню, к родителям мужа, то есть к дедушке и бабушке, что Дудник, муж то есть, получил новое назначение.

Подумалось: “Надо и жену отправить к родителям, нечего ей околачиваться во Львове”. Что-то вертелось на уме и о зяте, но Андрей Степанович задавил мысли о нем в зародыше: Дудник, следователь НКВД, ему не нравился, хотя именно он добился освобождения и реабилитации Кукушкина и его товарищей. Еще меньше нравилось полковнику, что единственная дочь, любимая им ревнивой любовью, вышла замуж за этого сморчка, который на полголовы ниже своей жены.

С этими полумыслями Андрей Степанович и уснул. Но уже через час его разбудил звонок из штаба дивизии. Звонил сам комдив, генерал Хворов:

— Спишь, Андрей Степанович? — пророкотал в трубке знакомый хрипловатый бас.

— Да вот... прикорнул.

— Сверху звонили: ожидается крупная провокация. Так что ты там... — и голос вдруг пропал, а вместе с ним обычные шорохи и пiski.

— Алё! Алё! — надрывался Кукушкин. — Товарищ генерал? Товарищ... Станция, черт бы вас побрал! Алё! Алё!

Трубка отвечала мертвой тишиной.

“Что он хотел сказать? — терялся в догадках полковник Кукушкин. — Что — я тут? Поднять полк по тревоге? Хотя бы по учебной? Замаскировать самолеты? Поднять зенитные расчеты? Но у зенитчиков нет снарядов. Снаряды обещали подвезти только на следующей неделе... Что же делать?”

Кукушкин снова вызвал к себе дежурного по полку майора Никишкина и велел ему собрать в штаб всех своих замов, командиров эскадрилий и начальников служб.

— Одна нога здесь, другая там, — ничего не объясняя дежурному, приказал Кукушкин. — И еще: передай начсвязи — мотоциклиста в штаб дивизии, связистов — на линию.

Через десять минут в кабинете командира полка собралось человек двадцать. Все эти десять минут Кукушкин пытался наладить связь полка с дивизией или хотя бы с местным райкомом партии: если поступила директива о возможной провокации со стороны немцев, то она поступила не только в воинские части, но и в партийные и советские органы тоже. Но связи не было. А посыльные пока доберутся, пока назад...

Все эти десять минут командир полка терялся в догадках и мучился сомнениями, боясь сделать что-то такое, чего делать никак нельзя, и не сделать тоже, потому что и за несделанное по головке не погладят. А второй раз предстать перед военным трибуналом — лучше пулю в висок.

— Вот что, — начал Кукушкин, хмуро оглядывая своих подчиненных. — Через... — он посмотрел на часы, — через двадцать минут будет объявлена учебная тревога. Действовать по инструкции. Дежурное звено — на старт. Самолеты — на запасные стоянки, замаскировать сетями, ветками. Откатывать машины собственными силами. Командиру роты охраны удвоить патрули, усилить охранение складов и стоянок самолетов.

— Заправка горючим, боекомплект? — спросил комэска Михайлов.

— Машины горючим дозаправить, боекомплект — тоже. Бензозаправщикам и оружейникам быть в полной боевой готовности. Еще вопросы?

— Так боевой или учебной? — переспросил дотошный инженер полка.

— А вот так, как я сказал, — отрубил Кукушкин.

— Я почему спросил, товарищ полковник, — пояснил инженер полка. — Я потому спросил, что у меня шесть машин на профилактике. В основном по системе уборки шасси и моторам. На козлах стоят. Их тоже на запасные?

— Их оставьте на стоянке, но укройте сетями.

Других вопросов не было.

6

В два часа сорок пять минут прозвучал сигнал учебной тревоги. В темноте перед самолетами выстраивался личный состав полка: летчики, техники, механики, мотористы. Зевали, покашливали.

Небо на востоке начинало чуть заметно светлеть. На западе лежала густая тьма. Сияли звезды, светился Млечный путь. Крылья самолетов и фюзеляжи тускло отсвечивали предутренней росой. В неподвижном воздухе команды звучали пугающе громко.

Где-то на севере, не так уж далеко от аэродрома, прозвучало несколько выстрелов. Точно эхо, им ответили выстрелы с другой стороны, но значительно глуше. Гул голосов на мгновение смолк, затем возобновился снова.

Комэски ставили задачу перед командирами звеньев, те — перед летчиками и механиками. Затем прозвучала команда: “Разойтись по местам!” Разошлись, зевая и матерясь вполголоса: начальству не спится — и оно подчиненным спать не дает. Даже по выходным.

Кукушкин шел по линейке полка, следил, как подчиненные выполняют его приказ и инструкции на случай учебной тревоги. В темноте мелькали лучи фонарей, копошились люди, слышались голоса, иногда смех.

“Хороший у нас народ, — думал Кукушкин. — Ворчат, а дело делают. А через минуту и ворчать перестанут. Смеются...”

Сзади затопало. Подбежал помощник дежурного по штабу, доложил:

— Только что звонили из штаба дивизии, приказали никаких тревог не объявлять.

— Кто звонил?

— Какой-то майор. Фамилию я не разобрал, товарищ полковник: слышимость была плохая.

— Перезвонить пробовали?

— Так точно! Никто не отвечает.

Кукушкин развернулся и быстро пошагал назад, к штабу полка. В голове билась одна мысль: “Отменять тревогу или не отменять?” В конце концов, он имеет право объявлять учебные тревоги хотя бы и по десяти раз на день: это входит в боевую подготовку личного состава. И никакой провокацией считаться не может. Что там мудрят — в этом штабе?

Телефон молчал по-прежнему.

В дверь постучали. Вошел начальник связи полка, молоденький лейтенант, недавно из училища.

— Разрешите доложить, товарищ полковник?

Кукушкин кивнул головой:

— Докладывайте.

— Связистов по линии послал, но от них пока никаких известий.

— Сколько человек послали?

— Двоих.

— Пошлите пять человек, — чеканил Кукушкин. — С оружием. Предупредите, что могут встретиться с диверсантами, одетыми в красноармейскую форму, чтобы вели себя осторожно, в кучу не сбивались, двигались цепочкой. При обнаружении обрыва занимали круговую оборону. Ясно?

— Так точно, товарищ полковник! — откликнулся начальник связи, а по глазам видно: ничего ему не ясно. — Разрешите выполнять?

— Вот что, лейтенант, — отеческим тоном начал полковник Кукушкин, кладя на плечо офицера тяжелую руку. — Мы все знаем, что на границе неспокойно. Что могут быть всякие провокации со стороны гитлеровцев. Есть сведения, что на нашу территорию заброшены диверсионные и шпионские группы. В Испании франкисты перед наступлением тоже засылали к республиканцам такие группы. Они рвали связь, убивали делегатов связи, нападали на командиров. Я не говорю, что ситуация такая же сегодня складывается и на нашей границе, но иметь в виду надо худшее. Посылая связистов на линию, объясни им все, что я тебе сказал... — Помолчал немного, спросил: — Выстрелы слышал?

— Так точно, слышал, товарищ полковник.

— Делайте выводы, лейтенант, — переходя вновь на “вы”, продолжил Кукушкин. — А теперь идите. Мне нужна связь.

Кукушкин стоял возле окна и смотрел на аэродром, окутанный ночной мглой. Там, точно ночные светлячки, мелькали огоньки фонарей, выхватывая из темноты то зачехленную кабину самолета, то часть плоскости, то

стойку шасси. Отбрасывая лучи фар до самого леса, ползли со стороны склада ГСМ все четыре полковых бензовоза.

Предупредив дежурного по штабу, что пойдет в первую эскадрилью, Кукушкин покинул свой кабинет.

Светало. Уже выступили из темноты деревья и кусты. Небо посветлело. Млечный путь исчез. На востоке, под брюхом фиолетовой мглы, раскинувшейся на многие километры, проступила, как кровь сквозь повязку, малиновая полоса.

Кукушкин мучился неизвестностью и неопределенностью. Они не позволяли ему действовать решительно. Только поэтому он смотрел сквозь пальцы на то, как в эскадрильях, не слишком торопясь, облепив самолеты, толкают их по одному в сторону леса на запасные стоянки. Это метров двести, и пока еще ни один самолет не достиг предназначенного ему места.

Покинув штаб, Кукушкин дошел до первой эскадрильи, командир которой дежурил по полку. К этому времени почти рассвело, хотя солнце еще не показалось из-за горизонта. На ручных часах стрелки сошлись на трех часах пятнадцати минутах. Лес точно растворился в дымке тумана.

“Может, комдив, говоря о провокации, имел в виду что-то другое? Скажем, готовность одной из эскадрилий или даже полка к вылету на прикрытие границы? Может, он собирался вызвать его, Кукушкина, в штаб дивизии?” — терялся в догадках Андрей Степанович.

Снова севернее аэродрома зазвучали выстрелы, в них вплелась автоматная трескотня. Это уже походило на настоящий бой. Задудукал ручной “детище”. Кукушкин остановился, прислушиваясь. И весь аэродром, казалось, замер в ожидании, чем кончится эта стрельба.

От штаба полка кто-то бежал, бежал изо всех сил, как бегают стометровку. Кукушкин узнал начальника связи лейтенанта Молокова, пошел, встревоженный, ему навстречу.

Еще издали тот закричал:

— Товарищ полковник! Товарищ полковник!

Кукушкин прибавил шаг.

— Товарищ полковник! — глотая воздух широко раскрытым ртом, докладывал лейтенант Молоков. — Связисты ведут бой! Доложили, что наткнулись на группу красноармейцев, и те неожиданно открыли по ним огонь. Убит старший группы помкомвзвода Литовченко и двое ранены. Это все, что они успели передать. Я послал им на помощь отделение с пулеметом.

— Хорошо, лейтенант. Вы действовали правильно. Идите на пункт связи: там ваше место.

— Есть, товарищ полковник, идти на пункт связи.

И в это мгновение раздался истерический крик:

— Во-озду-ух!

И взвывла сирена воздушной тревоги.

Кукушкин глянул на запад и увидел самолеты — десятка два, идущих в сторону аэродрома на высоте примерно в пятьсот метров. Они медленно росли в размерах, прерывистый гул наплывал, затапливая тишину, разрывая ее и давя.

— Боевая тревога, — произнес полковник Кукушкин посеребрившими губами и не услышал своего голоса. И только после этого крикнул: — Боевая тревога! Дежурное звено — в воздух! — Но вряд ли кто слышал полковника Кукушкина. — Тогда он схватил лейтенанта Молокова за плечо и уже в его ухо: — В штаб! Быстро! Ракету! — и толкнул лейтенанта с такой силой, что тот несколько шагов пробежал спотыкаясь, но потом восстановил равновесие и понесся к штабу со всех своих молодых ног.

А Кукушкин бежал к самолетам и кричал:

— Первая! В воздух! По машинам! Атаковать!

Дежурное звено “ишачков” уже вырুলивало на взлетную полосу. Но все остальные самолеты, одни еще на стоянке, другие оттащенные от нее на какое-то расстояние и повернутые носом к лесу, являли собой жалкое зрелище.

Из-за деревьев выскочила пара “мессеров”, пронеслась вдоль стоянки полка, строча из пулеметов. Загорелось несколько машин. А “мессеры”, сделав

крутой вираж, бросились на бегущих по взлетной полосе “ишачков”, и два из трех вспыхнули, один покатил в сторону, другой скапотировал и взорвался.

Из всего звена взлетел лишь один, заложил крутой вираж, выходя из-под обстрела, взмыл вверх и пошел лоб в лоб навстречу надвигающимся бомбардировщикам, но два “мессера” догнали его, затрещали их пулеметы, однако “ишачок” снова заложил крутой вираж, нырнул “мессерам” под брюхо, а затем сам ударил в хвост — и один из них задымил и пошел в сторону, заваливаясь на крыло. Но тут же вторая пара “мессеров” настигла “ишачка” — он вспыхнул и камнем рухнул в лес.

А к взлетной полосе устремилось сразу пять или шесть “Яков” и столько же И-16. Два из них уже разворачивались на взлетной, но видно было, что не успевают: с высоты, надсадно воя, пали в пике сразу с десятком “юнкерсов”. Вот у них из-под брюха посыпались черные точки и понеслись на взлетную полосу и стоянки самолетов. Еще через несколько секунд по взлетной полосе и стоянкам побежали разрывы мелких бомб, разбрасывая вокруг тысячи смертоносных осколков, которые пробивали баки, и пылающий бензин стал заливать стоянки, поджигая другие машины. Кричали люди, металась среди огненных вихрей, падали, горели заживо.

Одним из осколков был ранен в живот и полковник Кукушкин. Сбитый взрывной волной с ног, он, зажимая рану руками, лежал на рулежной полосе, плакал злыми слезами и хотел только одного — скорой смерти. На его глазах погибал его полк, а он ничего не мог сделать.

Вдруг совсем рядом, воя пропеллером на максимальных оборотах, пронесся один из “Яков” и полез в небо навстречу падающим оттуда “юнкерсам”. Полковник Кукушкин на несколько мгновений забыл о своей ране, о горящих самолетах и гибнущих в огне людях его полка: он с жадностью следил за очаянным броском истребителя и шептал серыми губами забытые слова:

— Господи, помоги ему! Гос-споди...

Видно было, как дымные шлейфы от снарядов и пуль, выпущенные “Яком”, скрещиваются с “юнкерсами”, но не видно, попадают они в них или нет. А “Як” все лез и лез вверх, не отворачивая, прямо в лоб головной машине. Еще мгновение — и огненный вихрь взметнулся в небо — и обе машины, разваливаясь на куски, устремились к земле. Остальные, сбросив бомбы куда попало, выходили из пике и разбегались в разные стороны.

7

Тело кружится вместе с кроватью в хаотическом неуправляемом полете. И теперь уже немец пристраивается сзади, нависая над хвостом истребителя старшего лейтенанта Дмитриева. Дмитриев выворачивает голову назад, пытаясь разгадать маневр немца, но что-то мешает ему повернуть голову как следует. Тогда он сбрасывает газ и проваливается вниз. Над ним медленно проплывают остроносые пули. Они словно ищут, куда бы им шлепнуться, что бы такое продырявить. Дмитриев вжимается в сидение, втягивает голову в плечи, он чувствует, как затылок его и спина холодеют и покрываются мурашками в ожидании удара. Вот-вот пули заметят его и спикуруют вниз, на его кабину. Но они плывут и плывут куда-то вперед. Так ведь там, впереди, машина капитана Михайлова! “Лешка! — орет Дмитриев. — Берегись!” Лешка Михайлов оборачивается, Дмитриев видит его улыбающееся лицо — точь-в-точь такое, как после первого сбитого им японца. И в тот же миг пули превращают лицо капитана в кровавую маску. Голова Михайлова клонится к плечу, от фонаря его кабины летят во все стороны куски плекса, окрашенные черной кровью. И все это в полнейшей тишине. Словно в немом кино. Потом над Дмитриевым проплывает размалеванное брюхо немецкого истребителя. Немец чуть заваливает машину на крыло — и Дмитриев видит теперь уже лицо немца. Тот кричит что-то, широко разевая рот...

И вдруг точно прорвало плотину: ревет двигатели, воют пропеллеры, стучат пулеметы, свистит в ушах воздух, хлопают разрывы зенитных снарядов, самолет трясет, бросает то вверх, то вниз. “Вот попал в переплет”, — думает старший лейтенант Дмитриев, изо всех сил сопротивляясь охватив-

шему его наваждению. А чей-то голос настойчиво повторяет одно и то же слово: “Война! Война!”

Старший лейтенант с трудом разлепляет тяжелые веки и видит над собой скуластое лицо с раскосыми глазами, в которых застыло отчаяние и ужас. Кровать ходит ходуном, звенят стекла, хлопают двери, стоит адский грохот. Дмитриев зажмуривает глаза, но звуки не исчезают. Кто-то трясет его за плечо и орет дурным голосом:

— Таварыш камандыр! Вставай нада! Самалот лытай нада! Вайна, таварыш камандыр!

“Какая еще к черту война? — сквозь похмельное отупение пытается пробиться к реальности Дмитриев. — Это мне снится. И окровавленное лицо Лешки — тоже”.

Но отчаянный крик слишком настойчив, твердые звуки “а” безжалостно сверлят одурманенный мозг, и Дмитриев снова открывает глаза.

Скуластое лицо, раскосые глаза — все повторилось.

— Ты чего орешь? — на всякий случай спрашивает Дмитриев, щупая смятую постель: Клавочки нет, значит, уехала.

— Вайна, таварыш камандыр! — обрадовалось лицо. — Самалот лытай нада! Мыхалав ехай нада!

И тут до старшего лейтенанта доходит, что перед ним посыльный из полка, что грохот за окнами гостиницы и нервный звон стекла — реальность, что сон его переплелся с явью, что он проспал начало войны, что его товарищи в воздухе, дерутся с немцами, а он в постели, в одних трусах...

Дмитриев рванулся, чуть не сшибившись лбом с посыльным красноармейцем, начал шарить одежду. Красноармеец, что-то лопоча, путая русские слова с родными, помогал ему одеваться.

Где-то настойчиво и методично ухали разрывы бомб. “Полусотки, — определил Дмитриев. — Станцию бомбят”. Потом в эти звуки вклинились другие, более слабые: гул самолетов, крики, топот ног в гостиничных коридорах, тряский перестук тележных колес.

Дмитриев выскочил из номера.

В коридорах метались люди, в основном женщины и дети. Молодая женщина, с распущенными волосами и широко распахнутыми от ужаса глазами, кинулась к нему, вцепилась в рукав гимнастерки.

— Товарищ старший лейтенант! Товарищ старший лейтенант! Господи! Что же нам делать? Куда идти? Это война или провокация?

— Война! — крикнул Дмитриев, пытаясь оторвать от себя руки женщины. — Уезжайте отсюда! Уезжайте в Россию! Только не на станцию! Там бомбят. Пешком. На попутках! Уходите!

Он кричал громко, чтобы слышали все: и кто был в коридоре, и кто выглядывал из номеров, и кто не выглядывал, выкрикивал, впервые с каким-то мстительным наслаждением произнося слова, которые слишком долго были запретными:

— Уходите! Все уходите! Быстрее уходите! Война!

Его обступили, к нему тянулись руки, он видел наполненные слезами глаза, перекошенные страхом лица. Это были все жены командиров, часто вместе с детьми, привыкшие находиться рядом со своими мужьями. Бросить мужей в такую минуту, бежать куда-то — не только страшно, но и невыносимо. Он мог бы сказать этим беззащитным женщинам, что войск поблизости нет — таких войск, которые могли бы противостоять немцам, а те, что есть, застигнуты врасплох, гибнут под бомбами, что немцы не сегодня-завтра окажутся здесь, во Львове, что они все стали заложниками чьей-то преступной глупости.

Но он не мог сказать им этого. К тому же он мог ошибаться: войска подойдут, ударят, опрокинут. Может, уже бьют немцев, может, уже на той, на не нашей стороне. Может, это такая тактика: одно выставить напоказ, другое тщательно спрятать. Не все ему сверху видно, не все известно. Да и некогда разговаривать, утешать, давать советы: его ждет самолет, его ждет небо, где наконец-то он посчитается за все. И за вчерашний день тоже.

И тут сзади раздался голос:

— Я бы не советовала вам, товарищ старший лейтенант, сеять панику. Вы просто паникер. А может, и трус.

Голос был металлический, хорошо отшлифованный и отполированный. В коридоре сразу стало тихо. Дмитриев оглянулся на голос.

— Да-да! Это я вам говорю, товарищ старший лейтенант. Это не война, а провокация. Так указывает товарищ Сталин. Красная армия сейчас накажет провокаторов, чтобы им впредь было неповадно. Не надо никуда ехать, не надо никуда бежать, товарищи женщины! И не надо слушать провокаторов-паникеров. Даже орденосных.

Перед Дмитриевым стояла женщина одинакового с ним роста, стройная, красивая, с коротко остриженными волосами. Он успел только взглянуть в ее кукольно-большие серые глаза, как совсем рядом раздался сильный взрыв, потом еще несколько. С потолка посыпалась штукатурка, зазвенело разбитое стекло, потянуло дымом, закричали женщины, дети. И эта женщина тоже. Она даже присела, закрыв голову руками.

— Дура! — рявкнул Дмитриев, шагнув к ней, враз избавившись от сомнений и надежд: если были бы где-то спрятаны войска, они бы уже действовали, они бы не позволили так безнаказанно бомбить город. Да и он сам — он не торчал бы здесь, в этой гостинице, а был бы в небе, бил фашистов... А эта женщина...

Где-то он видел таких женщин... в каких-то конторах, очень одинаковых женщин, очень похожих друг на друга и повадками, и прическами, и платьем. На гражданке — там все чужое, непонятное, там постоянно происходит что-то такое, что потом роковым образом отражается на армии, на нем самом. Он ощутил это в прокаленных солнцем монгольских степях у реки Халхин-Гол, потом в заснеженной Финляндии. Оттуда шли бессмысленные приказы, непонятные аресты командиров, дикие партийные судилища и безотчетный страх, что и ты можешь оказаться врагом, что и в тебе могут обнаружить какие-то искривления мыслей и желаний.

— Вельможная дура! — выкрикнул он в сердцах, не находя таких слов, чтобы можно было коротко и убедительно опровергнуть тупую уверенность этой куклы. Но женщина не слышала его: зажав уши руками, она сидела на полу, беззвучно открывая и закрывая рот. И никто уже не слышал: все бежали к выходу, в ухах звенел непрекращающийся крик — на одной высокой ноте. Дмитриев махнул рукой и тоже побежал к выходу вместе со всеми, но на лестнице все сбились в кучу — не протиснуться.

Дмитриев кинулся назад, заскочил в какой-то номер. Второй этаж, можно было бы прыгнуть, но внизу камни, доски, стекла. Не хватало еще покалечить ноги. Зато под окнами соседнего номера навес парадного гостиничного подъезда...

Заскочить в номер, открыть окно, спрыгнуть на навес, затем с навеса на землю — дело одной минуты.

Первое, что Дмитриев увидел, вскочив на ноги, это разорванная на части лошадь, опрокинутая телега, тело бородатого мужика в вылинявшей ситцевой рубахе, лежащее рядом с телегой, намотанные на посиневшую руку вожжи. Среди развороченной мостовой дымятся воронки, на противоположной стороне улицы горит угол дома. Куда-то бегут люди: одни в одну сторону, другие в другую.

Дмитриев оглянулся, ища своего посыльного.

— Таварыш камандыр! — услышал он знакомый голос. — Лошад ест! Ехай нада!

Посыльный держал под уздцы двух оседланных лошадей. Он помог Дмитриеву забраться в седло, крикнул что-то гортанное, припал к лошадиной гриве и погнал с места в галоп. Дмитриев устремился следом.

Верхом старший лейтенант ездил только в далеком детстве. В ночное. Охлопкой. Оказалось, что тело хорошо помнит, как себя вести. В седле и в стременах даже удобнее, надежнее как-то. Поэтому приноравливался он не

слишком долго. А вот красноармеец-посыльный — сразу видно: лошадь для него — родная стихия.

“Ему бы в кавалерию, — подумал Дмитриев, — а не хвосты самолетам заносить”. Потом он перестал вообще о чем бы то ни было думать: увиденное ошеломляло, отупляло своей непоправимостью, неотвратимостью.

Над городом группами и в одиночку летали немецкие самолеты. В основном — тихоходные Ю-87. Они пикировали, кидали бомбы, стреляли из пушек и пулеметов. И ни одного нашего истребителя! Ни одного! Где же самолеты его полка? Где самолеты других полков? Чем они заняты? Дмитриев ничего не понимал. И с яростью понукал свою лошадь.

За городом дорога оказалась пустынной. Километра через два они повстречали две армейские фуры, в них лежали и сидели раненые красноармейцы. Белели повязки, чернела проступающая кровь. Сидящий на передней старшина-сверхсрочник крикнул что-то Дмитриеву, показывая рукой за спину и в сторону, но Дмитриев не расслышал и даже не придержал лошадь. Скорее, скорее на аэродром!

Шоссе вырвалось из теснины меж старых могучих тополей, ветви которых переплелись высоко над головой, и перед Дмитриевым открылся простор, наполненный солнечным светом и неподвижными дымами над едва проснувшимся лесом. Там, меж дымов, кружились маленькие самолетчики, иногда вспыхивая отраженным солнечным лучом. Там был аэродром, там был полк, там были его товарищи. И он уже представлял себе, что там могло произойти, пока он спал в гостиничном номере пьяным сном.

До слуха Дмитриева долетали глухие взрывы, словно кто-то топал тяжелыми сапогами в дощатый пол в пустой комнате. Или вдруг часто-часто застучит, точно озороватый мальчишка пробежит вдоль забора, прижимая к штакетинам палку.

Так вот почему над Львовом нет наших истребителей! Ах, гады! Ах, сволочи!

Слева на шоссе из лесу напал желтоватый туман. От него тянуло ужасом смерти. Здесь, невдалеке от дороги, стояла какая-то артиллерийская часть. Каждый раз, проезжая мимо, Дмитриев видел одну и ту же картину: палатки, коновязи с лошадьми, зачехленные пушки, штабеля зеленых ящиков, иногда топающие по плацу красноармейцы. Сейчас все это было разворочено, деревья повалены и расщеплены, палатки сорваны, коновязи разрушены, зеленые ящики раскиданы, желтые снаряды и гильзы поблескивают в траве и среди кустов, из-под корневища вывороченного из земли дерева торчит ствол лежащей на боку пушки. И весь этот страшный погром затянут удушливым дымом сгоревшего тола.

“Неужели все погибли? — мелькнуло в голове старшего лейтенанта, не заметившего в этом бомболоме ни единой живой души. — Этого не может быть. Хоть кто-то да должен же остаться...”

Дмитриев вспомнил, что вчера они взяли в кузов двух молоденьких лейтенантов-артиллеристов, направлявшихся во Львов. Лейтенанты слезли недалеко от железнодорожного вокзала. Может, хоть эти двое остались в живых, не попали под бомбы. Да еще две фуры с ранеными, встреченные им несколько минут назад. Наверняка здесь есть еще раненые, нуждающиеся в помощи... Но старший лейтенант даже не придержал свою лошадь. Наоборот, он все нахлестывал ее и нахлестывал.

Бессильная ярость душила Дмитриева, но видел он перед собой красивую женщину с кукольно-большими глазами. Почему-то именно эта женщина связалась в его сознании с теми, кто оставлял без внимания его рапорта, кто не позволял ему сбивать немецкие самолеты, унижая его солдатскую душу, кто беспечно выставил наши войска на поруганье врагу, по чьей вине везде царили какие-то совершенно непонятные ему, солдату, благодушные и самоуверенные, словно фашистов можно запугать одними заклинаниями, одним видом солдатских палаток, танков, орудий и самолетов.

Ах, ему бы только добраться до своего “Яшки”! Только бы поскорее добраться. Даже если на нем еще не успели заклеить полученные раны.

Выстрел раздался неожиданно и так близко, что Дмитриев вздрогнул и

припал к лошадиной холке. Ему показалось, что и лошадь тоже вздрогнула и прибавила ходу. В следующее мгновение он увидел, как красноармеец-посыльный, скакавший впереди, запрокидывается назад, на круп лошади, безвольно взмахивает руками, а потом летит вниз и, словно тряпичная кукла, несколько раз кувыркается на дороге. Его лошадь, лишившись седока, вдруг бросается в сторону, перепрыгивает через канаву и пропадает из глаз.

Второго выстрела Дмитриев не слышал, зато хорошо слышал, как рядом с его головой вжикнула пуля.

Почему-то выстрелы не вызвали у него удивления. Наверное, так и должно быть, когда одни долго и тщательно готовятся к войне, а другие благодушествуют. Только бы не убили и не ранили здесь, на земле. Погибнуть в воздухе — совсем другое дело.

И старший лейтенант Дмитриев погоняет и погоняет взмыленную лошадь.

9

Перед самым поворотом на аэродром Дмитриев увидел вчерашнюю полуторку, опрокинутую в канаву взрывом рядом упавшей бомбы. Из кабины торчали голые женские ноги с потеками запекшейся крови, словно ноги эти исцарапала огромная когтистая лапа. Дмитриев еще помнил жар Клавочкиного тела в тесноте кабины полуторки, ее липкую грудь, стоны, ее неистовые ласки. Вчера... нет, еще час назад она была жива, спешила на аэродром, не зная, что ждет ее впереди. Ей не нужно было подниматься в воздух, а коробки с печеньем, выброшенные из опрокинутой машины, не патроны, без которых нельзя воевать. И все-таки она спешила — и вот...

С каждым скоком усталой лошади Дмитриев чувствовал, как что-то тяжелое и душное заволакивает его душу, как тяжелеют руки, как пустеет в груди, из которой вышло что-то прошлое, а новое, нужное сегодня, еще не оформилось, не заполнило образовавшуюся пустоту.

На месте КПП дымилась черные воронки. Горел склад ГСМ, почти посреди взлетной полосы горел бензовоз, вокруг него дымил несколько изуродованных самолетов. Полковая столовая, она же клуб, казармы летного и технического состава лежали в развалинах. Повсюду валялись одеяла, матрасы, куски железных солдатских кроватей, все было усыпано, точно снегом, белыми перьями. Штаб полка — небольшой кирпичный одноэтажный домик с высокой башенкой, над которой неподвижно, понуро даже, висела “колбаса”, — был цел, но Дмитриев и не подумал идти докладываться о своем возвращении из краткосрочного отпуска, погнав коня прямо на стоянку своей эскадрильи.

Горели застигнутые на земле самолеты. Тлели брезентовые чехлы. Лежали человеческие тела.

На краю воронки шевелился обрубок человека. Лошадь перед этим обрубком остановилась, как вкопанная, и, дрожа всем телом, попятилась, оседая на задние ноги.

Дмитриев спрыгнул на землю. Обрубок вдруг приподнял голову, прохрипел синими губами:

— Братцы, помогите! Умираю, братцы!

Дмитриев растерянно оглянулся: там и сям, что-то делая, копошились люди, там и сям валялись неподвижные тела, иные в трусах и майках, и никому до них не было дела. Он скрипнул зубами и, отпустив поводья, побежал туда, где стоял его самолет.

Его “Яшка” оказался цел. Правда, стоял он почти у самого леса, повернутый к нему носом. Возле него возился чужой механик.

— Чего там?

— Порядок! — обрадовался механик.

— Тогда давай!

— Есть давать!

Они вдвоем развернули самолет, Дмитриев забрался в кабину.

— От винта!

— Есть от винта!

Дмитриев взлетал поперек взлетной полосы. Он лишь мельком еще раз глянул на повисшую без движения “колбасу” над штабом полка: ветра не было. Теперь только не наскочить на воронку от бомбы, только бы взлететь. А там уж как-нибудь...

Со стороны солнца заходила стайка “юнкеров”, хищно растопырив стойки шасси. Над ними, высоко в небе, Дмитриев успел разглядеть пару “мессеров” — истребителей сопровождения. Подобрал шасси, от самой земли он пошел в атаку на приближающиеся бомбардировщики. Забылось, ушло куда-то все, что было до этой минуты: обида, злость, нервное напряжение, Клавочка, красивая и самоуверенная женщина с коротко остриженными волосами и отшлифованным голосом, чужие смерти, чужое отчаяние. Тот мир остался за невидимой чертой, он был почти нереален. Реальными были вот эти “юнкеры”, спокойно, как на учении, идущие бомбить чужой аэродром. По существу, они шли добывать то, что там осталось. Неужели от всего полка в воздухе только он один? Где капитан Михайлов? Где все остальные? Что с ними? Надо бы спросить у механика...

На миг перед глазами мелькнуло окровавленное лицо друга из пьяного сна там, в гостинице, во Львове. Да была ли гостиница? Была ли случайная любовь в гостиничном номере? Был ли пьяный сон, который ничего не изменил, не облегчил душу? У него такое ощущение, что он все еще продолжает вчерашний полет. И не было команды идти на посадку... Нет, теперь никакая команда его не остановит. Вот так же когда-то он шел в атаку на встречных курсах на японские самолеты. Только впереди летел Михайлов, Лешка Михайлов, тогда еще старший лейтенант. И самолеты у них были другие — “ишачки”. Юркие, но тихоходные машины. А на “Яшке” он впервые идет в атаку на встречных курсах. Если не считать учебных. Впрочем, все это в прошлом и к сегодняшнему дню не имеет равным счетом никакого отношения.

Вражеские самолеты приближались быстро. По каким-то неуловимым признакам Дмитриев определил, что его заметили: что-то изменилось в характере движения “юнкеров”. Он бросил взгляд вверх: “мессера” пикировали в его сторону. Ну, это им шиш с маслом. Расчет на слабонервных.

Дмитриев выбрал ведущего.

Собственно, а кого еще выбирать? Во все времена, сколько воюет человек, тот, кто идет первым, принимает и первый удар. Так повелось. А он, старший лейтенант Дмитриев, и первый, и последний. Других нету.

Движения у Дмитриева отработаны до полного автоматизма: чуть-чуть педалями, чуть штурвалом. Самолет — это он сам, обшивка самолета — его собственная кожа, и воздушные потоки обтекают не фюзеляж и плоскости, а его тело... Еще штурвал чуть-чуть на себя. Он чувствует, как напряглись рули высоты. Ведущий “юнкер” медленно вливается в перекрестие прицела. Ну! Еще самую малость...

И тут строй “юнкеров” разваливается на две стороны, и Дмитриев проваливается в пустоту. Ловко они его. А впрочем, нервишки у немцев оказались не очень-то. У япошек нервишки были крепче. Или гонору побольше? Черт его знает!

Дмитриев бросает машину вверх, делает “мертвую петлю” и несколько бочек, чтобы встряхнуться, лучше прочувствовать машину, и уже с высоты снова идет на “юнкеры”. Только теперь уже с хвоста... А где же “мессеры”? Дмитриев вертит головой, выворачивает ее так и эдак: истребители сопровождения как в воду канули. Это плохо. Охотник сам может оказаться дичью...

Ага, вот они!

Дмитриев увидел не сами немецкие самолеты, а их тени, стремительно бегущие по земле. Поднял глаза — “мессеры”! Идут в лоб. Прекрасно. Сейчас он угостит их почти тем же приемом, каким его самого только что угостили “юнкеры”. “Раз, два, три, че-ты-ре, пя-ять”, — считает Дмитриев и резко сбрасывает газ — самолет проваливается, словно из-под него выдернули опору, — и “мессера” проносятся мимо. Он даже успевает заметить, как пульсируют огоньки их пулеметов. Шиш вам с маслом!

Сейчас ему не до “мессеров”. Главное — “юнкерсы”. Дмитриев “садится” на хвост одному из них, ловит в прицел прозрачную башенку стрелка-радиста, дает короткую очередь. Видит, как разлетаются в стороны серебристые мотыльки осколков стекла, как проваливается куда-то черная фигурка стрелка. Потом, экономя патроны, подходит почти вплотную и бьет по кабине летчика. И резко отворачивает в сторону. “Юнкерсы”, кидая бомбы куда попало, бегут врассыпную. Его “юнкер” клюет носом и срывается в штопор. Теперь можно схлестнуться и с “мессерами”. Но тех нигде не видно. Дмитриев бросает взгляд на прибор, показывающий расход топлива, и удивляется: только что взлетел, а бензина едва-едва на посадку. Теперь понятно, почему нет и “мессеров” — они лапотнули на свой аэродром.

Дмитриев закладывает крутой вираж и идет на посадку. Над аэродромом чисто. Значит, он свою задачу выполнил — дал своим товарищам передышку. Теперь бы смотаться во Львов и разогнать там всю эту сволочь, чтобы женщины смогли спокойно выйти из города. Дмитриев доволен собой и верит, что с ним ничего не случится. Его уже много раз сегодня могли убить: разбомбить в гостинице, пристрелить по дороге, сбить в воздухе. А он цел. Значит, не отлита еще та пуля, которая ему предназначена. И он почти счастлив. Он даже пробует напевать арию из оперетты — очень легкомысленную и пошлую арию, слышанную им по радио.

Навстречу ему с аэродрома выносятся два наших истребителя: И-16 и Як. Странная парочка — гусь да гагарочка. Значит, это все, что осталось от его полка? Может, в одном из них Лешка Михайлов?

Дмитриев качнул крыльями, но они не заметили, уходя в сторону Львова.

10

Старшего лейтенанта Василия Дмитриева сбили на четвертом вылете. Вернее, на взлете. Он даже не успел убрать шасси. Пара “мессеров”, почти задевая брюхом верхушки деревьев, выскочила из засады, настигла его и походя расстреляла в упор. Изрешеченный пулями, но еще живой, Дмитриев успел нажать на гашетку, когда перед ним, в застигаемой смертным туманом голубизне, возникли вытянутые крестообразные тела его убийц.

Все-таки три “юнкерса” он свалить сегодня успел... “Яшка” некоторое время еще тянул вверх, продолжая вести огонь из пулеметов, а потом клюнул носом и устремился к земле.

Это был последний истребитель полка, которого больше не существовало.

Ближе к полудню от аэродрома отъехало две полуторки, к которым были прицеплены два тридцатисемимиллиметровых зенитных орудия, — правда, без снарядов. Борта щетинились снятыми с разбитых самолетов пулеметами. За полуторками следовали автобус и черная “эмка” командира полка.

В “эмке” на заднем сиденье полудлежал полковник Кукушкин. Рана живота оказалась поверхностной, но осколками задело еще голову и руку, так что полковник был весь в бинтах. Рядом с ним, придерживая его забинтованную голову, сидела жена полковника, чудом вырвавшаяся из Львова и добравшаяся до аэродрома. На переднем сиденье — инженер полка. В автобусе и машинах находились в основном техники и механики, оставшиеся в живых бойцы роты охраны. И всего четыре летчика. Многие были ранены.

За их спиной догорали самолеты, склад ГСМ, штаб полка. Колонна направлялась на северо-восток, в сторону Ровно. Никто не знал, чем и где закончится их путешествие.

11

Над заснеженными просторами висело низкое белесое небо, с которого сыпал мелкий снежок. Серым непроницаемым кольцом стоял вокруг лес, равнодушно окопелый. У левой его кромки темнели маленькие самолетики, у правой — зарывшиеся в сугробы рубленные казармы и штаб истребительного полка.

Трактора в последний раз тащили по взлетной полосе куски рельсов, разравнивая снег после чистки. Механики, мотористы и даже летчики деревян-

ными лопатами очищали рулежные дорожки, откапывали свои самолеты. Зима, ничего не поделаешь.

Командир истребительного полка полковник Кукушкин шагал по взлетной полосе в своих рыжих унтах и в рыжей же летной куртке на собачьем меху вслед за тракторами, иногда подфутболивал ногой кусок слежалого снега, морщился, как от зубной боли. И было из-за чего. Вечером из штаба авиадивизии пришел приказ о приведении полка и взлетной полосы в готовность номер один не позднее семи часов утра. Время уже шесть часов тридцать минут, полоса готова, расчистку самолетных стоянок заканчивают тоже, а из дивизии больше ни звука: то ли полетим, то ли нет.

Вдали погромыхивала артиллерия. А это значит, что наше наступление продолжается, и продолжается оно без поддержки авиации. Что это такое, полковник Кукушкин испытал на собственной шкуре полгода назад, когда под Гомелем с остатками своего полка оказался втянутым в бои наравне с пехотой: “юнкеры” “ходили по головам”, не встречая с нашей стороны практически никакого сопротивления. И вот на дворе уже январь сорок второго, наши войска гонят немцев от Москвы, а его полк, полностью укомплектованный самолетами и летчиками, из-за этой чертовой погоды в боях участвует лишь от случая к случаю.

Следом за полковником идет, прихрамывая и опираясь о палку, его адъютант, старший лейтенант Скорняков, бывший летчик, списанный по ранению, совсем еще молодой человек. Дело Скорнякова доносить команды полковника до командиров эскадрилий, если нельзя их собрать в штабе, если что-то срочное, если куда-то надо катить на мотоцикле, на машине, на лошади, если надо написать приказ по полку, заполнить журнал полетов, что-то проверить, уточнить — без дела сидеть ему не приходится.

Трактора, развернувшись, возвращаются назад. Кукушкин останавливает один из них, забирается в кабину, Скорняков рядом, оба таким образом возвращаются на стоянку.

Только через два часа поступил приказ на вылет одной эскадрильи “Яков” для прикрытия полка штурмовиков Ил-2.

Небо по-прежнему висит над самой землей серым покрывалом, видимость по горизонту не превышает километра. А иногда и того меньше. Встреча с “Илами” назначена в районе высоты 210, затем поворот на юго-запад, на Сычевку: где-то там у немцев аэродром и склады с боеприпасами. Задача: прикрыть “Илы” сверху, при отсутствии в воздухе истребителей противника самим подключиться к штурмовке.

Летчики построились возле самолетов, полковник Кукушкин обошел строй, выслушал рапорт инженера эскадрильи о готовности матчасти к полету, остановился, адъютант эскадрильи зачитал приказ на вылет.

— Вы вот что, — начал Кукушкин хриплым от донимавшей его простуды голосом. — Приказ на штурмовку вам ясен и обсуждению не подлежит. Но огонь открывать только по видимым целям, а не как бог на душу положит. И непременно оставьте патроны на всякий случай. Мало ли что: фриц может спохватиться, или распогодится, чем отмахиваться будете? Чем прикрывать пахарей? Назад пахари будут возвращаться через Субботники, там тоже есть чем поживиться, так вы имейте в виду, что в этих Субботниках у немцев зениток прорва. Пока пахари будут пахать, вы поработайте по зениткам на бреющем. Но, опять же, имейте в виду возможную встречу с “мессерами”. При встрече с ними не давайте себя загонять в сторону, противоположную от фронта. — Помолчал немного, коротко бросил: — По самолетам!

Летчики, одетые в меховые куртки и штаны, в унты из собачьего меха, неуклюже затрусили к своим “Якам”. Взревели моторы, мотористы убрали из-под шасси колодки, взлетела вверх зеленая ракета. Поехали!

Взлетали звеньями по три самолета, таща за собой пушистые хвосты взвихренного снега. Первое звено, второе, третье, четвертое. Через минуту самолеты растворились в мутной пелене, унося с собой гул двенадцати пропеллеров.

Кукушкин еще с минуту вглядывался в даль, потом прошел по стоянкам других эскадрилий, наблюдая за подготовкой машин к возможному вылету,

свернул на рулежку, где стояло дежурное звено, готовое взлететь через минуту после сигнала, затем направился к штабу, над которым топорщились мачты радиантенны и полоскалась на ветру полосатая “колбаса”.

Всякий раз, отправляя своих соколов на задание, полковник Кукушкин испытывал чувство почти физической утраты близких ему людей, хотя знал, что летчики у него бывалые, совершили не по одному десятку боевых вылетов, на бортах большинства машин по две-три, а то и больше звезд, означающих сбитые самолеты, что не бывает такого, чтобы улетевшие на задание эскадрильи не возвращались назад целиком, разве что не вернется один-два самолета, и все равно: в ожидании не находил себе места, курил беспрестанно и пил крепкий чай. Уж надо бы привыкнуть к чужой гибели: сколько он повидал за эти восемь месяцев войны, сколько задолго до нее, но не привыкалось никак, каждый вылет полка отзывался в сердце незатухающей тревогой. И в то же самое время он что-то делал, что положено делать командиру истребительного полка: отдавал приказы, подписывал бумаги, снимал пробу на кухне для летного и наземного состава, получал приказы из дивизии, проводил совещания с начальником штаба и своими заместителями, проводил инструктажи, следил за обучением молодого пополнения, но все те сорок пять — пятьдесят минут, что самолеты находились в воздухе, тревога не покидала его и росла с каждой минутой по мере истечения времени, отпущенного на полет.

Еще мучило полковника Кукушкина то обстоятельство, что немецкие истребители летают парами, а советские — тройками, что пары имеют явное преимущество перед тройкой: трем самолетам труднее держать строй, почти невозможно осуществлять маневры на высоких скоростях, тем более с применением фигур высшего пилотажа, а надо еще следить за воздухом, ведомые как бы выключены из боя, потому что их задача — прикрывать ведущего, самим же остается полагаться только на бога, а все вместе взятое есть бессмысленное расходование ресурсов, положенных для боя, что, наконец, у двух нянек дитя без глазу. Вот и сейчас в воздух поднялось четыре звена по три машины в каждом, а если парами, то было бы шесть самостоятельных единиц, шесть характеров, шесть атак, шесть скоротечных моментов боя.

Кукушкин уже писал на имя командующего ВВС Красной армии, что надо переходить на пары, знал, что и другие командиры полков и даже дивизий пишут о том же, но командующий ВВС сам не летает и даже поговаривают, не летал никогда, и где уж ему понять, что хорошо, а что плохо. Тем более что и воздушными армиями иногда командуют бывшие пехотинцы, прошедшие спецкурсы для командного состава ВВС, для них инструкция — и царь и бог, они от параграфа ни на полшага. Кукушкин и готов бы плюнуть на устаревшие инструкции, но плюнуть — легко сказать, а когда на тебе висит арест в тридцать восьмом и строгий выговор по партийной линии, когда ты чудом избежал трибунала, то сто и тысячу раз подумаешь, плевать или не плевать. Плюнешь — а пара не вернется... И что тогда? Тогда только одно: вечная память. И не только им, но и себе самому.

12

— Летят! — воскликнул Скорняков, открыв дверь в кабинет полковника Кукушкина.

— Слышу, — проворчал Кукушкин и, преодолевая желание кинуться к окну, открыл портсигар, достал папиросу и стал не спеша разминать ее, чуток прислушиваясь к накапывающему на аэродром рокоту моторов.

Он знал, что в эту минуту весь полк смотрит в небо и считает возвращающиеся с боевого задания самолеты, и самому хотелось смотреть и считать. Более того, он обязан был наблюдать посадку самолетов, чтобы отметить недочеты, недисциплинированность некоторых летчиков, если таковая проявится, — да мало ли что может случиться и что он своей властью должен предупредить или исправить.

Но он также знал, как это бывает, когда летчики возвращаются с задания, еще не остывшие после боя, а если, тем более, кого-то потеряли в этом

бою, да еще на последних каплях горючего, — тут уж не до пунктуального следования инструкциям, главное сесть, а все остальное потом. Зная все это и зная свой вьедливый характер, полковник Кукушкин оставался за столом, выкуривая по две, иногда и по три папиросы зараз, пока не замолкал рокот последнего мотора и над аэродромом не повисала чуткая тишина.

Но более всего полковником Кукушкиным руководил страх и... стыдно сказать... суеверие, как бы вытекающие одно из другого. Да-да, самое настоящее суеверие. Он заметил как-то, что стоит ему выглянуть в окно, так уж точно: кто-то не вернулся. А однажды не вернулось целое звено. Зато если не смотрел, возвращались все как один. Такое вот совпадение. А может, и нет. Черт его знает, что это такое! Или еще кто-то, если не черт. Так что лучше перетерпеть, а уж потом, когда сядут...

Только когда затихли все моторы, полковник Кукушкин встал из-за стола, надел свою выдающуюся кожаную куртку, такой же шлем и пошел встречать летчиков, устало бредущих к тепляку, где их ожидает второй завтрак, а главное — горячий чай.

Последним покидает стоянку командир эскадрильи капитан Воронов, сбивший четырнадцать немецких самолетов, в том числе девять “мессеров”. На него давно послана реляция о присвоении звания Героя Советского Союза, но бумага все еще где-то бродит или, наоборот, лежит, потому что в штабах полагают, будто сбивать немецкие самолеты — это раз плюнуть, что тогда, по их понятиям, надо Героя давать и пехотинцу за десять убитых фрицев, и артиллеристу за десять подбитых танков, потому что у каждого свое оружие и каждому противостоит соответствующим образом вооруженный противник. В этом, конечно, есть своя логика, но это логика штабного червя, не нюхавшего пороха, воспринимающего войну чисто теоретически, вдали от фронта или из глубин бомбоубежищ. А на самом деле у летчика в руках оружие весьма дорогостоящее, и сам он не приложение к этому оружию, которому грош цена в базарный день, а тоже стоит немало, и если он, летчик, с помощью этого оружия уничтожает такое же оружие врага и самого врага, сохраняя свое оружие и себя самого, то от этого выигрывает и армия, и страна в целом многократно. Трудно даже подсчитать в рублях, сколько она выигрывает. И поощрять такой выигрыш необходимо. Впрочем, как и пехотинца, и танкиста, и всех остальных, кто сражается, не щадя живота своего. И в последнее время, действительно, стали поощрять материально: за сбитый самолет, за подбитый танк и за что-то там еще. И правильно: деньги эти сами по себе — мелочь, но у летчиков есть семьи, а им лишний рубль по нынешним временам далеко не лишний.

Командир эскадрильи Воронов подходит, останавливается в трех шагах от командира полка, докладывает:

— Товарищ полковник. Эскадрилья вернулась с задания в полном составе. Задание выполнила. Самолетов противника в воздухе не обнаружила. Штурмовку аэродрома и других наземных целей произвела без замечаний. Результаты уточняются. Три машины имеют повреждения от наземного огня. Боеприпасы израсходованы полностью.

— Как подопечные?

— Один сбит зенитным огнем, упал на лес — сам видел. Один дымил, но линию фронта перетянул. Пахари к нам претензий не имеют.

— Хорошо, отдыхайте.

Воронов всегда докладывает таким образом: поработали, мол, приказ выполнили, а чего сколько, пусть считают те, кому положено. И не из скромности, а из принципа. Другие комэски могут и приврать, но не Воронов.

Вечером на разборе полетов в присутствии всех летчиков полка тот же Воронов толково и подробно разберет все детали боевого вылета, но не сейчас. Сейчас это практически бессмысленно. Кукушкин по своему опыту знает, что сразу после боя в голове винегрет, при этом весьма несъедобный, и надобно какое-то время, чтобы все в ней утряслось и встало на свои места.

Итак, до вечера. А пока впереди целый день, и могут быть другие полеты.

Кукушкин обошел вернувшиеся машины, возле которых колдовали мотористы и механики, осмотрел повреждения, даже совал в иные пулевые и

осколочные отверстия пальцы, определяя на ощупь, что и насколько повреждено.

Пока обходил самолеты, снова повалил снег, завыл ветер, захлопали на ветру брезентовые чехлы, из виду исчезли и лес, и стоянки, и штаб с мотающейся по ветру “колбасой”. Чтоб ее черти побрали... этакую-то погоду!

13

Еще днем Кукушкину позвонил командир соседнего полка и предупредил, что надо ожидать к себе большое начальство. Зачем едет начальство, не сказал, но посоветовал вертеть в кители дырку.

Что ж, дырку так дырку. Но и порядок тоже должен быть. И Кукушкин еще раз обошел свое хозяйство, больших недостатков не обнаружил, а за мелочи пожурил и велел устранить, не ссылаясь при этом ни на кого. В конце обхода заглянул в санчасть, где медсестрой числилась его жена. Присел в ее маленьком кабинетике на лежак, растегнул куртку, снял шлем, пригладил ладонью свалившиеся редкие волосы.

— Все хрипишь? — спросила жена, придирчиво оглядывая мужа своими черными нерусскими глазами.

— Да уже не так, как вчера, — успокоил ее Кукушкин.

Она молча кивнула головой, заставила выпить порошок, накапала в нос ментоловых капель, затем присела напротив, сложив на коленях руки с длинными сухими пальцами, и Кукушкин увидел, как она постарела за эти несколько месяцев войны, и в сердце его кольнуло жалостью.

Они сидели и молча смотрели друг на друга, при этом каждый знал, о чем думает другой. Все о том же: дочь с внучкой остались на оккупированной территории, зять сгинул в первые же дни войны. Что с ними, как они и где — думай что угодно. Лучше бы не думать: не поможешь, но не думать не получалось ни у него, ни у нее. А молчать о своих думах они умели.

— Мда, — произнес Кукушкин, оперся о колени руками, встал. Затем предупредил: — К нам командующий сегодня должен приехать... Такое вот дело... — И вышел за дверь.

Начальство нагрянуло в полк ближе к вечеру — сам командующий воздушной армией генерал Новиковский с начальником политуправления армии дивизионным комиссаром Севским.

Генерал Новиковский был человеком грузным и одышливым, хотя еще совсем молодым — не старше сорока лет. О нем поговаривали, что для него сесть в самолет, хотя бы в тот же “кукурузник”, чуть ли не подвиг. И это при том, что генерал начинал когда-то курсантом Качинского училища летчиков, но до полетов так и не дошел, направив всю свою энергию на комсомольскую работу, и на этой стезе сделал стремительную карьеру. Сперва был секретарем комсомольской организации училища, затем, вступив в партию, пошел по партийной линии, а когда Большая чистка открыла множество всяких вакансий, занял одну из них и попер, и попер. И вот теперь командует целой воздушной армией. И не плохо, надо признать, командует. В том смысле, что армия имеет новейшие самолеты, не испытывает недостатка ни в боеприпасах, ни в горючем, не говоря об остальном, полностью обеспечена летным составом, который постоянно пополняется, при этом молодых летчиков не бросают в бой с первых же их шагов в боевом полку, а месяц-другой натаскивают на полеты в самых сложных условиях, а уж потом, когда созреют, постепенно втягивают в боевые полеты под постоянным контролем бывалых пилотов. Поэтому в армии самые низкие потери и самый высокий показатель сбитых самолетов противника. Вот если бы этому генералу да современное видение воздушного боя, тогда бы цены ему не было.

Генерала и его свиту принимали в столовой — самом большом помещении, которое использовалось как по прямому назначению, так и для всяких мероприятий. В том числе и для разбора полетов.

Для начала Новиковский произнес большую речь, охарактеризовав военное положение на фронтах, в Европе и в мире в целом, затем перешел к самому главному: к награждению. Командир соседнего полка не ошибся: Ку-

кушкину вручили орден Боевого Красного Знамени, летчиков и технарей не забыли тоже, исходя из заслуг каждого, а капитану Воронину — наконец-то! — сообщили, что ему присвоено звание Героя Советского Союза, но вручать награду будут в Кремле, куда он и должен не мешкая выехать.

Потом был собран внеочередной ужин, выпили, как водится, опуская в стаканы ордена, и полковник Кукушкин, видя благорасположение к нему и его полку генерала Новиковского, возьми да и напomini ему:

— Я посылал вам рапорт, Евгений Иванович, о том, что пора и у нас отказаться от троек и вводить боевые пары. Немцы — они ж не дураки, и опыт у них, так что в этом деле нас опередили. К тому же на практике нам же и доказали, что пары более приспособлены для современного воздушного боя, чем тройки, потому что...

Полковник Кукушкин еще не закончил фразы, когда заметил, как стало багроветь широкое лицо генерал-лейтенанта Новиковского. И одновременно стало сереть узкое лицо дивизионного комиссара Севского.

Но Кукушкин решил не отступать:

— Я понимаю, что этот вопрос сразу не решишь, для этого надо пересмотреть инструкции, но когда-то же необходимо это сделать. Хотя бы в порядке эксперимента. Я могу взять на себя ответственность организовать несколько таких пар из своих летчиков...

— Это как же вас понимать, товарищ полковник? — выдавил наконец из себя Новиковский, всегда весьма болезненно относившийся ко всяким предложениям снизу. Тем более высказанным в такой поучительной, можно сказать, форме. — Это что же получается по-вашему? Получается, что немцы для вас примером стали? Фашисты, значит, для коммуниста, примером стали? Учиться у них вздумали? Так, что ли, вас понимать надо?

Хотя генерал говорил негромко, в помещении повисла такая тишина, что стало слышно, как воев в трубе ветер и шуршит по замерзшему стеклу окна снег.

Кукушкин понял, что завел этот разговор не к месту, но назад хода не было, обвинение ему брошено, и надо на него отвечать. И он ответил, глядя в побелевшие глаза командующего:

— Я не вижу ничего зазорного в том, чтобы учиться у сильного и грамотного противника, товарищ генерал-лейтенант. Петр Первый не считал зазорным учиться у шведов, товарищ Сталин говорил о заимствовании передового опыта у капиталистических государств. В своем рапорте на ваше имя я, как мне представляется, вполне аргументированно доказал, что тройки себя изжили, они препятствуют...

— Я читал ваши так называемые аргументы, то-ва-рищ полковник, — перебил Кукушкина Новиковский. — И не вижу в них ни малейшего смысла. И не только я, но и командование ВВС Красной армии. И больше этот вопрос советую вам не поднимать. Если не хотите нажать себе неприятности.

Командующего армией поддержал начальник политотдела Севский:

— Странно, — произнес он насмешливо, — что вы, полковник, не замечаете очевидных факторов: суммарный огонь трех самолетов больше, чем двух. Помножьте это на большевистский моральный дух, коммунистическую идеологию, русскую смекалку и ненависть к проклятым фашистским агрессорам и вы получите тот результат, который не учли в своих так называемых аргументах...

— Все, хватит! — бросил Новиковский, поднимаясь из-за стола. — Разговор окончен. Синоптики дают на завтра летную погоду. Имейте это в виду. Желаю успеха, — и при полном молчании покинул помещение вместе со своей свитой.

Полковник Кукушкин не сдвинулся с места. Он чувствовал себя опустошенным и униженным...

На другой день погода еще немного улучшилась, и с раннего утра начались полеты по прикрытию штурмовиков и бомбардировщиков, схватки с немецкими истребителями, пошли потери — что ни день, то к вечеру в столовой

одно-два места пустуют, стоят тарелки, лежат ложки-вилки, а есть ими никому. И ничто не помогает — даже то, что Кукушкин не выглядывает в окно.

“Что-то не так, — думает он по ночам, ворочаясь на узкой кровати. — Видать, и вправду немцы перебрали на наш участок фронта одно из своих лучших истребительных соединений. Летчики говорят, что все “мессеры” разукрашены, как новогодние игрушки, всякие знаки на них и страшные морды. Надо будет слетать самому и посмотреть, что за асы такие к нам пожаловали”.

Но самому полковнику Кукушкину слетать никак не получается. Если непогода делает передышку, поднимается почти весь полк, его дело — провожать и встречать, и единственное, что он может себе позволить — погонять над аэродромом молодых летчиков в парном учебном бою. И в непогоду Кукушкин не дает никому предаваться унынию, занимая летчиков изучением теории и матчасти, изнуряя их в небольшом спортзале физическими упражнениями и чисткой снега.

В один из февральских дней, когда после полудня снегопад неожиданно прекратился и облачность несколько приподнялась над укутанной снегом землей, Кукушкин вызвал к себе Воронова, недавно вернувшегося из Москвы с Золотой Звездой Героя на широкой груди, и предложил вдвоем слетать на разведку в сторону Вязьмы.

— Пойдешь ведущим, — излагал задачу Кукушкин. — Надо посмотреть, что у фрицев в тылу делается. Там наши в окружении дерутся, приказано сбросить им медикаменты и пакет. Искать своих будем на бредущем. На обратном пути, если встретим фрицев, атакуем. Проверим лишней раз работу в паре. Рано или поздно, а переходить на пары придется. Надо к этому быть готовыми. Ну, и, как говорится, поищем себе чести, а полку славы.

Взлетели друг за другом по узкой, очищенной от снега полосе. Едва оторвавшись от земли, убрали шасси и взяли курс на Вязьму. Видимость то более-менее, то ни к черту. Шли сперва вдоль железной дороги, потом вдоль русла реки, оставляя в стороне деревни и села, проскочили над своими окопами, потом над немецкими. Промелькнули танки, пушки, но никто не выстрелил. И неудивительно: два самолета неожиданно выскакивали из снежной мути и в ней же растворялись — тут и головы поднять не успеешь.

Не долетая до Вязьмы, пошли к югу, туда, где в окружении дрались кавалеристы генерала Белова, десантные батальоны и пехотные дивизии 33-й армии генерала Ефремова. Эти части должны были взять Вязьму и тем завязать горловину “мешка”, в котором оказалась бы Ржевско-Вяземская группировка противника, но не взяли: немцы оказались и сильнее, и тоньше, чем предполагал командующий фронтом Жуков, в результате наступающие армии сами оказались в “мешке”.

Здесь оба самолета немного покружили над лесом, обнаружили стоящих у коновязей лошадей, потом заметили группу машущих руками людей, сбросили над ними два тюка с медикаментами, в одном из которых был пакет, покачали крыльями и пошли назад.

Капитан Воронов вел самолет уверенно, полковнику Кукушкину оставалось только идти за ним, как привязанному, чтобы не потерять из виду: погода снова начала портиться, иногда попадали в снежный заряд, тогда ведомый видел лишь тень от впереди летящего самолета, да и та порой растворялась в снежной круговерти. Все-таки выбрались, впереди несколько даже разъяснилось, и вот она Вязьма. Замелькали под крыльями разрушенные и сгоревшие дома, железнодорожная станция, составы на ней, машины, танки.

Воронов покачал крыльями, что на языке летчиков, не имеющих радиостанций, означало: “Внимание! Приготовиться в бою! Делай, как я!” Кукушкин догадался, что Воронов хочет атаковать станцию.

За Вязьмой поднялись повыше, развернулись, пошли назад. Земли почти не видно, Воронов рассчитывал по времени, затем, когда внизу замелькали окраины, несколько снизились, над площадью вошли в пике и ударили из пулеметов и пушек по всему, что там двигалось и стояло, пронеслись над эшелонами, над пыхтящими паровозами. Вышли из пике уже за станцией, сделали горку, снова пошли назад и — новая атака. А там уже что-то горе-

ло, два паровоза стояли окутанные паром. Значит, не впустию сработали. На этот раз их встретили огнем зенитки, но они слишком быстро проскочили над целью и снова ушли в облака. В облаках, чтобы не столкнуться, разошлись в разные стороны, снова соединились лишь над лесом и пошли к своему аэродрому.

— Ну как? — спросил Воронов, когда они с Кукушкиным, оставив парашюты мотористам, сошлись под навесом курилки и жадно сделали по несколько затяжек “Беломором”.

— Нормально. Жаль, “мессеров” не встретили.

— Жаль, конечно, но у меня, между прочим, товарищ полковник, ни одного патрона не осталось.

— У меня, между прочим, товарищ капитан, тоже.

Воронов, коротко хохотнув, уточнил:

— Зато рубаху хоть выжимай.

— Нормально. Так и должно быть. Не к теще на блины летали, — без тени улыбки оценил признание Воронова Кукушкин. Посмотрел на небо, на стоящие самолеты оценивающим взглядом, заключил: — Завтра, если повезет, слетаю еще. И ты тоже. С кем-нибудь из молодых. — Бросил окуроч в урну и пошагал к штабу, раскачиваясь на ходу, будто шел по палубе корабля.

“Досталось старику, — с сочувствием подумал Воронов, глядя вслед командирю. — Но ничего, молодцом Батя. Иному молодому сто очков вперед даст”.

И тоже пошагал, но несколько в другую сторону — к тепляку, рубленой избушке, над крышей которой ветер трепал дым, вываливающийся из железной трубы, где в ожидании полетов коротали время летчики его эскадрильи. Куртка капитана была распахнута, шлемофон сдвинут на затылок, порывы ветра кидали ему в лицо и грудь колбочие снежинки, а Воронову все еще было жарко.

Но назавтра слетать в паре не удалось, хотя погода и разъяснилась настолько, что даже немцы возобновили свои полеты. Снова полк летал на сопровождение штурмовиков и бомбардировщиков, снова вступали в бой с немецкими истребителями, снова были потери. И чаще всего потому, что тройки в коловерти скоротечного боя распадались, не выдерживая строя, откалывался кто-то из ведомых и становился легкой добычей противника. Зато оставшаяся пара вела себя значительно увереннее и спуску “мессерам” не давала. И полковник Кукушкин стал посылать свои истребители парами, в приказе по полку делая оговорку: “...ввиду некомплекта звеньев и неслетанности пополнения”. Эта оговорка должна была отвести от него обвинение в самоуправстве, пренебрежении инструкциями, нарушении дисциплины и прочих грехах.

15

Полеты только что закончились. Сегодня потерь в полку не было. Может, повезло, может, сработало новшество. До темноты еще оставалось часа полтора. Кукушкин давал последние инструкции ведомому, старшему сержанту Чаплиеву, рыжевато-девятнадцатилетнему парнишке, два месяца как прибывшему в полк с пополнением. Они с этим Чаплиевым не раз барражировали над своим аэродромом, отрабатывая слаженность в исполнении маневров. Впрочем, не только с ним, но Чаплиев нравился ему своей дисциплинированностью, цепкостью и выносливостью. И стрелял он хорошо, правда, пока лишь по наземным мишеням.

— Значит, так, сержант, — говорил Кукушкин своим занудливым голосом. — От меня ни на шаг, никаким соблазнам не поддаваться, следить за воздухом и обо всем докладывать мне соответствующим образом!

— Так точно, товарищ полковник! — отчеканил Чаплиев, глядя на Кукушкина преданными рыжеватыми глазами.

— Тогда по коням.

Этот вылет считался как бы свободной охотой. Однако в журнале полетов он будет отмечен как тренировочный полет в прифронтовую зону — все для того же начальства.

Кукушкин и на этот раз пошел к Вязьме. Но они еще не пересекли линию фронта, как заметили девятку “юнкерсов”, возвращавшихся с бомбежки наших тылов. И самое удивительное — без прикрытия. То ли немцы рассчитывали на приглушение бдительности русских по причине приближающейся ночи, то ли прикрытия ушло на свои аэродромы, израсходовав горючее.

Немцы летели на высоте двух километров. Кукушкин с Чаплиевым шли на полкилометра ниже. Кукушкин решил атаковать снизу.

“Юнкеры” быстро наплывали в перекрестие прицела, росли, все более заслоняя небо. Оба “Яка” лезли вверх по пологой кривой, немцы, судя по всему, их еще не заметили на фоне бело-темных пятен земли. Когда осталось метров двести, Кукушкин выровнял самолет, откинул предохранительную скобу и нажал на гашетку. Дымные струи вырвались с боков фюзеляжа, дрожь сотрясла его корпус, — и Кукушкин увидел, как разлетается плексиглас кабины последнего “юнкера”, тут же слегка сработал штурвалом на себя, снова задрал нос, опять нажал на гашетку, как только второй самолет ввалился в перекрестие прицела.

Затем Кукушкин бросил машину вверх, сделал вертикальную бочку, свалил машину на крыло и кинулся вдогонку уходящим “юнкерам”. “Раз, два... пять, шесть”, — сосчитал Кукушкин самолеты врага. Один дымил и шел с резким снижением. Других видно не было, а разглядывать, куда они подевались, недосуг.

На этот раз атака предстояла сверху. Оглянувшись — Чаплиев шел за ним, как приклеенный.

“Молодец, сынок”, — мысленно похвалил его Кукушкин, прилаживаясь к хвосту последнего “юнкера”.

На этот раз “юнкеры” вползали в прицел не так стремительно. Видно было, как задние виляют хвостовым оперением, стараясь вывести на прицельную стрельбу свои пулеметы.

Кукушкин подошел к самолетам врага так близко, что стали видны заклепки на обшивке последнего бомбера. Нажал гашетку. Он всем своим существом чувствовал, и даже видел, как пули и снаряды рвут дюралюминиевое тело самолета врага, затем рулем поворота чуть влево — и снова огонь, чуть вправо — и еще раз.

Они промчались под брюхами четырех оставшихся “юнкерсов”, затем заложили левый вираж, да такой крутой, что у самого Кукушкина заложило уши. Но Чаплиев удержался за ним, — и только тогда Кукушкин разглядел четверку “мессеров”, проскочивших мимо.

Кукушкин снова заложил вираж и пошел навстречу “мессерам”, но едва вышел на прицельную стрельбу, сбросил газ, провалился, затем снова полный газ, полез вверх и оттуда пошел в атаку. Немцы не выдержали, разбежались парами в разные стороны. Кукушкин не стал за ними гоняться: он увидел, что самолет Чаплиева дымит и уходит вниз в сторону фронта. Кукушкин тоже свалился вниз, туда, куда тянулся дымный след от машины ведомого. Он догнал его, пристроился сбоку и увидел Чаплиева: голова летчика была в крови, плексиглас кабины в рваных дырках.

— Садись, сынок, садись! — кричал он Чаплиеву, будто тот мог его услышать, и делал придавливающие движения рукой. — Шасси не выпускай. На брюхо садись! — продолжал кричать он, следя за тем, как самолет ведомого опускается все ниже и ниже к белому полотну реки, и вот он как-то неуклюже клоннул носом, выровнялся и, шлепнувшись в снег, взвихрив его, проскользил немного на брюхе, развернулся и замер, уткнувшись одним крылом в сугроб.

Молодец, — похвалил Кукушкин ведомого. — Держись, сынок, держись!”

И полковник Кукушкин, оглядевшись и не заметив самолетов противника, тоже повел свой самолет на посадку. Он тоже садился на брюхо, но сел чисто, долго скользил по снежной целине, с тревогой слыша, как костыль скреблет о лед и дергает машину на неровностях, остановился метрах в пятидесяти от самолета ведомого, открыл фонарь, отцепил парашют, полез из кабины. А с берега уже бежали по льду люди, и Кукушкин, хотя и был уверен, что он на своей территории, однако, лишь разглядев этих людей хорошо, вздохнул с облегчением и убрал в кобуру пистолет.

Сержанта Чаплиева вытащили из кабины, положили на носилки, понесли. Полковник Кукушкин шел сбоку, вглядываясь в меловое, заострившееся мальчишеское лицо пилота, а в душе его вместе с ударами сердца, в лад со скрипом снега под ногами стучали слова, похожие на молитву: “Только бы выжил... Ведь совсем ребенок... Только бы выжил...”

Чаплиев, открыв глаза, прошептал белыми губами:

— Одного я свалил, Батя.

— Ты не одного свалил, сынок, ты двоих свалил... — И добавил: — Потерпи маленько.

Чаплиев закрыл глаза, на его губах застыла блаженная улыбка...

16

Миновало три года и три месяца. Пятого мая сорок пятого года генерал-лейтенант Кукушкин, командир гвардейского истребительного авиакорпуса, сам вылетел во главе одного из своих полков на штурмовку прорывающихся на запад немецких частей. Лететь ему, командиру корпуса, не было никакой необходимости, но он, не принимавший участия в боевых вылетах почти полгода, с осени сорок четвертого, то есть с момента назначения командиром корпуса, хотел теперь, когда война шла к завершению, своими глазами посмотреть — и не с земли, а сверху — на эту поверженную ими землю врага. К тому же командующий авиационной армией предупредил его, что в составе прорывающейся на запад эсэсовской части могут находиться заправилы гитлеровской Германии и даже сам фюрер... чтоб ему ни дна, ни покрывки.

Кукушкин слишком хорошо помнил первый день войны, даже не день, а раннее утро, помнил каждой клеточкой своего тела, помнил свой незащищенный аэродром, свой полк и свои самолеты, горящие на земле, своих летчиков и техников, гибнущих под бомбами, сам горел и погибал вместе с другими, чтобы не насладиться теперь чувством мщенья за то унижение, которое испытал в тот предрассветный час. Поднимаясь в воздух, генерал Кукушкин пренебрегал возможными последствиями: нагоняем от командования, отсутствием летной практики — всем ради удовлетворения от своей долгой и тяжелой работы. Он был уверен, что заслужил этот полет, имеет на него право, и никто не может запретить ему подняться в воздух, чтобы нанести последний удар по издыхающему врагу.

Прошла уже неделя, как Берлин сдался на милость победителей, и когда генерал Кукушкин летел над развалинами города, он видел и белые флаги, и бредущие по улицам вереницы пленных, и ликующие толпы наших солдат, и взлетающие повсюду ракеты. А увидев все это, приказал по радию своим истребителям подняться повыше: еще подобьют ненароком... на радостях-то.

Полк шел в построении “этажеркой”, хотя немецких истребителей его летчики не видели в небе уже пятый день, а те самолеты, что иногда появлялись в небе над Берлином, в бой не вступали и старались тут же нырнуть в облако или попросту кидались наутек.

Миновали Берлин. Внизу на фоне зеленеющей земли мелькали плотные порядки штурмовиков Ил-2, выкрашенных в камуфлирующие цвета, и раннее солнце, светившее в спину, струилось в дисках их пропеллеров.

Наплывали и уходили назад зеленые перелески, прямоугольники полей, беззащитные городки с красными черепичными крышами, отдельные строения, каналы, речушки, озера. Тянулось, слегка извиваясь, шоссе, а по нему двигались танки, машины, хотя движение это сверху лишь угадывалось по сизым дымкам из выхлопных труб. Ни контуры танков и машин, ни направление их движения не говорили ничего о том, чьи это войска движутся на запад. Но “Илы” прошли над колоннами на низкой высоте, не меняя своего построения, а это значило, что они пролетают над нашими войсками.

Минова-другая полета — и дорога опустела. Затем вдвигались еще одна колонна машин и танков, но танки в основном двигались по обочине, выплевывая из невидимых сверху стволов сизые облачка дыма, а впереди, в километре-полтора, эти плевки впучивались серыми кустами разрывов, бе-

зобидными на вид и беззвучными. Эти кусты подбирались к опушке леса, где виднелись крошечные пушечки, которые тоже плевались дымом, но уже в сторону колонны, однако разрывов снарядов видно не было: пушки стреляли бронебойными.

Генерал Кукушкин то и дело кренит свой Як-9, чтобы не терять из виду землю и все, что на ней происходит. Вот “Илы” сузили свой строй, от них потянулись к земле серые полосы реактивных снарядов, среди машин и танков вспенились густые клубы разрывов, появились черные дымы. Шоссе на протяжении двух-трех километров затянуло дымом, и в этот дым настойчиво, как осы на гадюку, кидались “Илы”, то кружась вокруг какой-то цели, то взмывая вверх.

Кукушкин еще какое-то время ведет свой полк в том же построении, затем, когда самолеты миновали лес и стреляющие по колонне пушки, развернул полк, скомандовал по радиации атаку по наземным целям и, едва “Илы” отработали, бросил свою машину почти в отвесное пики.

По правилам он должен атаковать со стороны солнца, но немцы, слишком занятые штурмовиками, на истребителей не обращали внимания. А зря: те несли на подвесках толбмы, да и пушки их сверху вполне способны продырявить не слишком толстую верхнюю танковую броню. А уж пехоте вообще некуда деваться от десятков скорострельных пулеметов.

Земля несется навстречу, прижимая тело к бронеспинке. Вот среди не такого уж густого дыма стали вылепливаться танки, машины, затем и человеческие фигурки, разбегающиеся по сторонам. Кукушкин нажимает кнопку сбрасывателя бомб, затем, переходя на планирование, вдавливая в штурвал гашетку с такой силой, точно от этого зависит сила его пушки и пулеметов. Он слышит и ощущает всем телом, как мелкой дрожью сотрясается самолет, и сам трясется вместе с ним, но продолжается это недолго: патроны кончаются быстро, и он с трудом отрывает палец от гашетки. Что делается сзади, он не видит, но уверен, что не промазал, что хотя бы половина пуль и снарядов, а уж четыре-то бомбы небольшого калибра — те уж точно попали в цель, но удовлетворения от этого не чувствует: вся Германия со всем ее населением, со всеми городами и фольварками, дорогами, полями и всем-всем-всем, окажись они в этот миг под огнем его эскадрилий, не заплатила бы сполна за все, что она натворила на его земле. Именно так он видит Германию сверху — как некое тело, обрубленное со всех сторон, но все еще живое, скалящее зубы.

“Илы” уходят на свои аэродромы, Кукушкин повернул свой полк им вслед, а навстречу им уже летели пикировщики и истребители — добивать то, что осталось от вражеской колонны.

“Ну, вот и славно, — думает генерал Кукушкин, оглядывая горизонт. — А вы как думали? — мысленно обращается он к тем немцам, живым и мертвым, оставшимся на шоссе. — Вы думали, что мы вам подадимся? Вы думали, что нас можно взять на испуг? Вы здорово просчитались, господа фрицы. Не на тех нарвались. Да. Вот теперь и расхлебывайте то, что заварили. А вы как думали? То-то и оно”.

Но в душе у генерала Кукушкина нет ни торжества победителя, ни удовлетворения, как бы он себя мысленно ни уговаривал. В ней прочно угнездилась серая тоска по погибшим товарищам, по поруганной своей земле. И генерал знает, что тоска эта неизлечима, что она умрет вместе с ним, и разве что внучка его не будет знать этой тоски, начнет все сначала, с белого листа. А он... он со временем уйдет на покой, станет разводить цветы, посадит сад... ну и что там еще. Дальше этого мысли его не идут: дальше некуда.